

ТРИ ЮБИЛЕЯ АНДРЕЯ СЕДЫХ

АЛЬМАНАХ

1982

ТРИ ЮБИЛЕЯ АНДРЕЯ СЕДЫХ

АЛЬМАНАХ
1982

Редактор ЛЕОНИД РЖЕВСКИЙ

Обложка СЕРГЕЯ ГОЛЛЕРБАХА



Портрет А. Седых работы М. Клионского

461 8 Avenue. New York, N. Y. 10001.

1902—1982 ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЕ
1922—1982 ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ
ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ
1942—1982 СОРОК ЛЕТ
В РЕДАКЦИИ НОВОГО РУССКОГО СЛОВА

АНДРЕЮ СЕДЫХ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС, ДОРОГОГО ЮБИЛЯРА, В ВАШ СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД, КОГДА СОВПАЛИ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ ВАШЕЙ МНОГОСТОРОННЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ—АНТИБОЛЬШЕВИКА-ПУБЛИЦИСТА, ПИСАТЕЛЯ И РЕДАКТОРА. ПОЗДРАВЛЯЕМ И ПРОВОЗГЛАШАЕМ СЛАВУ ТОМУ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОМУ И ЦЕННОМУ, ЧТО ВЛОЖИЛИ ВЫ ЗА ЭТИ ДОЛГИЕ ГОДЫ В КУЛЬТУРНУЮ ЖИЗНЬ НАШЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ В ДУХЕ ЛУЧШИХ ГУМАНИСТИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ РУССКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ, РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. И ДА ПРОДЛИТ ГОСПОДЬ ВАШИ СЛАВНЫЕ ДНИ!

Василий Аксенов, Лидия Алексеева, Юз Алешковский, Нонна Белавина, Валерий Вайнберг, Галина Вишневская, Лия Владимирова, Нина Воронель, Михаил Гольдштейн, Сергей Голлербах, З. М. Григоренко, Петр Григоренко, Белла Давидович, Евгения Димер, Иван Елагин, Ольга Жигалова, Анатолий Иванов, о. Александр Киселев, Марк Клионский, М. Клявер, В. Коварская, Алла Кторова, Е. Ладыженская, Владимир Максимов, Альберт Марков, Михаил Моргулис, Борис Нарциссов, Н. А. Натова, Ирина Одоевцева, Н. В. Первушин, К. Померанцев, Надежда Рейзенберг, Клара Рокмор, Агния Ржевская, Леонид Ржевский, М. Ростропович, Е. Рубин, Валентина Синкевич, Глеб Струве, Никита Струве, митрополит Феодосий, первоиерарх православной церкви в Америке, С. Г. Трубецкой, Татьяна Фесенко, Борис Филиппов, Марк Хандельман (NYANA), Игорь Чиннов, В. Чалидзе, Анна Шерман, Людмила Штерн, Владимир Юрасов, Елена Якобсон.



Андрей Седых — 1932.

Редакция «Нового Журнала» сердечно поздравляет Андрея Седых с троекратным юбилеем и желает ему многих лет дальнейшей плодотворной работы.

Роман Гуль

Редакция, сотрудники и друзья «Русской Мысли» приветствуют и горячо поздравляют глубокочтимого и ДОРОГОГО ЯКОВА МОИСЕЕВИЧА с его славным восьмидесятилетием. Все мы желаем ему многие и многие лета подвизаться на высоком и трудном посту беззаветного служения делу нашей - посильной общей борьбы за освобождение порабощенных коммунистической властью народов Советского Союза.

Мы также поздравляем НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО со знаменательным юбилеем его Главного редактора.

Еще раз — многие и многие лета, дорогой Яков Моисеевич!

«Русская Мысль»

АНДРЕЮ СЕДЫХ — ВОСЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ!

Одна большая прожитая им жизнь вместила множество жизней. И в этом смысле она столь же характерна для его поколения, сколь и единственна. Андрею Седых выпало жить в век катастроф, век мясорубок, век, «вывернувший суставы» людям и словам, на месте одушевленных понятий оставивший гладко клееную словесную шелуху. Внимательный и хваткий наблюдатель Седых видел и различал все превращения; профессиональный литератор — он сумел их описать и назвать; человек, рожденный и воспитанный старой культурой, он сумел о ней не забыть и не исторгнуть, и в то же время — в ней не застыть. Но, стремясь попадать в ногу времени, — и не поддаться соблазну легких клише.

Многочисленные написанные им книги — это, выражаясь кинематографическим языком, «натурные съемки», в том

числе и в чисто художественных произведениях. Строго говоря, все они — путевые заметки: записи путешествий во времени или в пространстве — по городам или пейзажам, или лицам, или возрастам и эпохам. Путешествия по открытиям и ошибкам, по оптическим обманам — и по радостным ощущениям, что вот здесь, вот это было увидено и понято верно, четко и честно, и тогда возвращение к бывшему когда-то воспринимается как радостный приход во вновь обретенный миг, порт, дом покоя.

Много лет отдано Андреем Седых старейшей в эмиграции русской газете, и это означает постоянный напряженный труд, неусыпное внимание к злободневности, необходимость сохранять четкую позицию, не впадая, тем не менее, в агрессивность, умение понимать и объединять идеи, мысли, людей...

Одна только эта цифра — «80» — уже не может не служить предметом зависти. А когда речь идет о столь полно прожитых 80-ти — тем более. И мы от души желаем Андрею Седых жизни еще более долгой, еще более полной: достойного и памятного продолжения.

Редакция журнала Континент.

НАШИ ДРУЗЬЯ

Прочная дружба складывается обычно в молодости. Наша дружба с Андреем Седых и Женни Грэй сложилась, когда и мы и они были, увы! далеко не молоды. В США мы приехали 30 ноября 1977 года. В аэропорту нас встретило огромное количество крымских татар и несколько украинцев. Крымские татары подготовили нам квартиру в доме, где жил сын, и мы сразу вошли в большой круг хороших людей. Особенно близки были нам крымские татары Фикрет Юрпе и Мамед Севдияр. Они-то и познакомили нас с редактором свободной независимой газеты Новое Русское Слово Андреем Седых.

Первая встреча состоялась у нас на квартире: знакомство друг с другом. Андрей Седых умно и тактично входил в нашу жизнь, стараясь понять нас. Мы хотели того же

по отношению к нему. Беседа была долгой и оживленной. Расстались друзьями. Наше впечатление: говорил с нами не крикливый антисоветчик, а глубокий, вдумчивый политик, добрый, тактичный, высокой культуры и широкого кругозора человек.

Последовало знакомство с Женни Грэй. Познакомились мы и с прошлым Андрея Седых по его книгам: «Далекие, близкие», «Крымские рассказы», «Пути, дороги». Они помогли еще больше понять дружный творческий союз этой пары. В авторе этих книг мы увидели тонкого наблюдателя и доброго, чуткого человека.

Одновременно росло наше уважение к газете. Нам все больше импонировала ее независимость и терпимость к разнообразным течениям политической мысли. На ее страницах встретились все три «волны» эмиграции. И ничего, уживаются! Скажем о себе: далеко не все в наших статьях соответствовало взглядам редактора, хотя еще первый разговор показал, что общую ситуацию в мире и в частности в СССР мы в основном оцениваем одинаково. По ряду более узких вопросов мы расходимся, но не было случая, чтобы хоть одна из наших статей не была опубликована.

Андрей Седых — мастер интервью, он умеет «разговаривать». Помнится, как он проводил интервью сразу с тремя: нами обоими и Авторхановым. Прошло несколько минут — и уже говорили только мы трое; а А. Седых сидел рядом и только следил с улыбкой за ходом нашей беседы. Магнитофон записывал. Потом в газете появилась целая полоса.

Приятно говорить с Андреем Седых с глазу на глаз. Еще приятнее — двое на двое: тактичная и тонкая Женни своими острыми, отточенными репликами хорошо оживляет беседу.

80 лет — возраст серьезный. Но кто, когда и где указал предел? Андрей Седых полон сил и бодрости. А его газета в цветущем состоянии. Мы желаем, чтобы такое положение сохранялось подольше, и, может быть, мы еще вместе побываем в местах, о которых писалось в «Крымских рассказах».

Дорогой Андрей Седых! Дорогая Женни Грэй! Здоровья Вам и творческой жизни на многие годы!

Зинаида и Петро Григоренко

ПРИВЕТСТВИЕ АНДРЕЮ СЕДЫХ ОТ ТОЛСТОВСКОГО ФОНДА

Тесная дружба связывает Андрея Седых с Толстовским Фондом с самого начала существования нашей организации. У Александры Львовны Толстой было особое отношение к Якову Моисеевичу, — и как к человеку, и как к собрату по перу. Она находила, что Андрей Седых пишет, как Бунин, который был его другом, а Яков Моисеевич говорил, что Александра Львовна пишет большими мазками, — как Малявин.

Мы, сотрудники Толстовского Фонда, ценим Андрея Седых за его высокую профессиональную честность и этику, и за его превосходное владение русским языком. Это большой русский журналист, — едва ли не последний.

Свою личную симпатию и уважение к Якову Моисеевичу я хочу иллюстрировать одним эпизодом: несколько лет тому назад моя покойная мать, игуменья Елеонского монастыря, ушла на покой и переехала в другое помещение, где все было хорошо, но она не имела телефона: получить его было в Иерусалиме почти невозможно. Тогда монахини мне сказали: «Попросите Андрея Седых, Коллек ему не откажет» (Тедди Коллек — мэр Иерусалима). Так я и сделал. Через несколько дней раздался неожиданный звонок из Иерусалима, от монахинь: «Нам поставили телефон и наш первый звонок был Андрею Седых, чтобы его поблагодарить».

Отличительной чертой Якова Моисеевича является его исключительная доброта и сердечность. Он как создатель Фонда Срочной Помощи Нового Русского Слова, никогда не отпускает просителя с пустыми руками, не оказав ему помощи. Среди множества людей, с которыми я имел удовольствие встречаться, Андрей Седых занимает особое место. На него всегда можно положиться, ему можно верить и доверять.

Покойный Марк Ефимович Вейнбаум однажды сказал мне: «Вы должны иметь в виду, что когда вы беседуете с журналистом, то он будет думать, что Вы уже кому-то все это сказали и поэтому может опубликовать ваш с ним разговор. Но если Вы будете беседовать со мной или с Андреем Седых конфиденциально, то оба мы промолчим».

Нерушимость доверия характерна для Андрея Седых.

Многая лета Якову Моисеевичу и его супруге, Женни Грэй, верной спутнице его жизни.

Т. Багратион-Мухранский

Многоуважаемый Яков Моисеевич!

От имени Русской Академической Группы в США сердечно поздравляю Вас с Вашим восьмидесятилетием. Дай Вам Бог еще многие годы продолжать Вашу полезную деятельность на благо русской общественности в США.

Александр Оболенский

Буду весьма признателен за помещение и моего имени к коллективному поздравлению славного юбиляра, сделавшего так много для нашей русской эмиграции в Америке, в Европе и по всей Земле.

Сергей Жаров

Дорогой Яков Моисеевич, милый Андрей Седых!

Рада, что — поверх океана, нас разделяющего, — могу Вас приветствовать на заре Вашего нового десятилетия. Вы мой современник — хоть несколько меня и упредили — и знакомы мы уже полвека.

Знаю, что не лишены Вы, когда надо, как публицистической едкости, так и строгости, подобающей главным редакторам, но Ваша *сущность* выявляется в Ваших книгах, в непосредственной теплоте повествования о людях, странах, городах. О прошлом, хотя оно не всегда было розовым, Вы никогда не пишете с желчью. Далекие Вам близки, и поэтому в Ваших воспоминаниях о них они предстают

перед читателем в своей человеческой полноценности, а не в своих человеческих слабостях.

И еще: мне хочется поблагодарить Вас за то, что в наше время, когда кое-кто из иностранцев или из выходцев из СССР старается доказать, что октябрьский переворот ничего в стране не переменил и что между Россией, в которой Вы и я родились, и тем, во что коммунистическая власть эту Россию обратила, можно поставить знак равенства. Мы оба знаем, что не все в русском прошлом достойно уважения, но одной Вашей книгой о Вашем феодосийском детстве Вы просто и сердечно опровергаете эту одинаковость.

И как не упомянуть о Вашей жертвенной поддержке из США русским литераторам и журналистам разоренной войною Европы; дело, которое Вы и теперь продолжаете, — Литературный Фонд, к сожалению, еще необходим.

Дружески Вас приветствую и сердечно желаю Вам и Вашей замечательной Жене — жене здоровья и радости на будущие годы.

Зинаида Шаховская

Поздравляю Вас сердечно с тем, во что Вы сами безусловно верите, как в силу, связавшую Вас «Небом небес» навеки.

Что могу сделать от чистого сердца — это обнять Вас по русскому, пасхальному, и пожелать сил для всего девятого десятка, — что открывается перед нами обоими милостью Божией.

Ваш архиепископ Иоанн (Шаховской)

Дорогой Андрей Седых!

Шлю Вам свои самые сердечные поздравления по случаю 60-летия Вашей литературной деятельности, сорокалетия Вашей работы в Новом Русском Слове, — сначала ответственным редакционным сотрудником, а затем Главным Редактором. Все знают о Ваших громадных достижениях

за эти долгие годы.

С Божьей помощью Вы служили русской эмиграции, всячески помогали изгнанникам, давая обильную и точную информацию о событиях, происходящих в мире и снабжая нас культурной пищей, столь необходимой в особенности нашему молодому поколению.

Да поможет Вам Господь в Ваших добрых деяниях и сохранит Вас в добром здравии на долгие годы.

Искренне Ваш архимандрит Антоний Граббе
Начальник Православной Миссии в Иерусалиме

Дорогой Яков Моисеевич!

В день Вашего восьмидесятилетия я Вам искренне желаю оставаться таким же энергичным и бодрым, удивительно работоспособным. Уверен, что под Вашим руководством Новое Русское Слово займет достойное место в истории русской журналистики. Будьте здоровы! Обнимаю

Ваш Анатолий Гладилин

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN
ANN ARBOR

June 2, 1982

Mr. JACQUES ZWIBAK
c/o N. R. Slovo
New York, N. Y. 10019

Dear JACQUES:

Welcome to the club. We are a numerous and growing breed, we—80 and over. I call us "Octogeraniums", a hardy plant that continues to flower through the years. You certainly do. From the cloistered precincts of the University of Michigan in Ann Arbor,

I keep track of what you are up to.

So far as I have heard, you do not know a fallow year. Yours continue to blossom with new fruits, new thoughts to fit the times and events, new books and collections of your works, a beacon of hope and humaneness through the Novoye Russkoye Slovo, a voice of reason on a confusing scene that forms understanding out of chaos. Your voice represents the values and verities of moral life. These are large matters. Not many beacons remain on an otherwise squalid scene. Yet there you are, reminding us of what is permanent, steadfast, worthy of our claim to humanity.

Dear Jacques, you are a leader of ORT. In that capacity, you have enriched us all — here on the American scene, among our fellow ORT people in France and elsewhere, and above all, in Israel. You belong to that generation of leaders who rescued ORT from the ashes of War and Holocaust and took the vow to reconstruct. None of us stood on public platforms to make large declarations. Ours has been a work of deeds.

You helped lead our "Russian" ORT group out of uncertainty and into a partnership with ORT Israel and ORT in Jerusalem. Of all the numerous works with which you are identified, I should like to single out this deed. You were one of the architects that helped place on sound footing the ORT schools that have well served two generations of youth in Jerusalem. Now, on your 80th anniversary, you are in the front ranks of those responsible for the continuity of these institutions in the tasks of educating a new generation of young men and women in the skills of life and livelihood.

On this occasion, I link arms with you. You are a part of that chain of continuity that reaches into the experience of what has been, in order to avoid the pitfalls of an uncertain future. Jerusalem and its youth are unfinished business on the agenda of our lives. You and I are partners in this business and your 80th anniversary is a good occasion to renew that obligation. I do so for both of us.

With a full heart, I send you the embrace of a fellow combatant enrolled in our continuing crusade in the construction of Israel and its capital, Jerusalem, and of the ORT laboratories for the education of a new generation of its youth. Let us do this together.

Yours,
William Haber
Honorary President
World ORT Union

AMERICAN AND EUROPEAN FRIENDS OF ORT

817 Broadway
New York, N. Y. 10003

June 10, 1982

Mr. JACQUES ZWIBAK
Novoye Russkoye Slovo
New York, N. Y. 10001

Dear JACQUES:

In one capacity, you are well-known in our circles as Andrei Sedych, the editor of the Novoye Russkoye Slovo. In another, we know you as Jacques Zwibak, Chairman and leader of the American and European Friends of ORT. Both Sedych and Zwibak have now reached their eightieth anniversary and it is both of them that we celebrate on this occasion.

So far as Andrei Sedych is concerned, you have served as our teacher and guide through these perplexing times. An essay under your name is a signal that something significant is being said. Your words are like a compass that leads us to levels of understanding. I must confess that many of us relish the cultural events of music and dance through your reviews. This whole milieu comes alive with meaning as we follow you through them. You tell not only what is happening but how all this fits together into a set of cultural values. This is the precious possession you have bequeathed to us.

Now, let me address your alter ego — Jacques Zwibak. By this name, you and I are partners in ORT. Here it is appropriate that I make a confession. I am not so sure that so much could have been achieved without your leadership.

On this 80th birthday of yours, let it be remembered that you were a prime mover in the creation of ORT Automechanics School in Jerusalem. Nor did you let it go at that. More than two generations of youngsters have moved through its classrooms, its workshops and its laboratories to acquire the skills of hand and mind with which to make a livelihood and do something useful. It is appropriate to record here, that this was one of the very first schools of its kind in all of Israel, which today stands as a model for many others. Let it be

noted that this institution stands on the Street of the Prophets in Jerusalem, and in that respect, your initiative was indeed prophetic.

On this 80th anniversary of yours, let it be recorded that you led in the establishment and maintenance of the ORT School of Engineering, which stands today on a hill overlooking Jerusalem as part of the Hebrew University and is recognized as a unique contribution to higher technical learning in Israel. That is no small achievement in itself.

As if that were not enough, you have been our ambassador to this ORT which was born out of the travail of our forefathers over a century ago in Czarist Russia. You have represented us in the councils and the decisions which are the ORT of today.

When all this is said, there remains something more. You have been and remain a guiding and illuminating presence. The light you shed by your work and wisdom will continue to guide us, as we march together along the path of time.

Yours,
Simon Jaglom
President.

Leo Najda
Executive Vice President.

Ю Б И Л Я Р

ЖУРНАЛИСТ
РЕДАКТОР
ПИСАТЕЛЬ
ЧЕЛОВЕК

«...Это Мопассан чистейшей воды. Но Мопассан, как обычно, вдохнул бы в такую историю что-то горькое и жестокое, а у его далекого русского ученика все смягчено и сглажено».

ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ

ВАЛЕНТИНА СИНКЕВИЧ

ТРИ ЮБИЛЕЯ

НЕДАВНО позвонила мне пожилая новоэмигрантка из Норд Ист, нашего филадельфийского Брайтон Бич. У нее беда: вот уже больше недели к ней в комнату просачивается сквозь стенку вода из соседней квартиры. Жаловалась управляющему и хозяину дома — безрезультатно. Обещают, но ничего не делают. Она умоляла меня немедленно довести это до сведения Андрея Седых. «Он заставит их сделать починку!»

Думал ли раньше Андрей Седых, что его имени будут приписывать такую магическую силу? Предполагал ли, называя одну из своих книг «Только о людях», что когда-нибудь вся жизнь его будет проходить на людях, как всегда, самых разнообразных по положению, по своим человеческим достоинствам и недостаткам? Может быть еще «на заре туманной юности» предчувствовал это, родившийся 80 лет тому назад в солнечной Феодосии, будущий редактор Нового Русского Слова? А может быть и нет. Ведь нередко случается с человеком совсем обратное тому, что он планирует, и это есть жизнь...

Яков Моисеевич Цвибак покинул Россию в 1920 году восемнадцатилетним юношей. Затем жил во Франции и в Америке. Именно за пределами России родился русский писатель и журналист Андрей Седых. О прозе его уже написана докторская диссертация; он присутствует на приемах и пресс-конференциях в Белом Доме; имя его связано с важнейшими событиями русской общественной жизни за рубежом.

Этот необыкновенный человек всегда был окружен

интересными людьми — его друзьями и знакомыми. Квартира Андрея Седых в Нью-Йорке — своеобразный музей с картинами, книгами, редкими автографами. Бережно хранятся фотографии с дарственными надписями: «Андрею Седых — седой Иван Бунин. 30 января, 1949 г.», «Милому собрату по перу Якову Моисеевичу Цвибаку — А. Куприн. Париж, 1930 год», «На память дорогим Евгении Осиповне и Якову Моисеевичу Цвибак с любовью — А. Гречанинов. 1946 г.», «Милому старинному приятелю Андрею Седых — Федор Шаляпин. 1934 г.».

В 1933 году А. Седых был секретарем Бунина, получившего тогда Нобелевскую премию; вместе с Верой Николаевной Буниной и Галиной Кузнецовой сопровождал он лауреата в Стокгольм.

1982 год — знаменательная дата в жизни Андрея Седых. В этом году он может праздновать три юбилея: свое восьмидесятилетие, шестидесятилетие писательской деятель-



Журналисты за работой в Елисейском Дворце. 1926 г. Первый слева — Андрей Седых.

ности и сорокалетие редакторской работы в Новом Русском Слове. (Писать в НРС начал он из Парижа еще в 1932 году).

* * *

Образ жизни Андрея Седых никогда не был легким. Его энергия, работоспособность и жизнерадостность поистине легендарны. Но он всегда был перегружен работой — служебной, творческой и общественной. Тяжелы были его студенческие годы во Франции. Жизнь впроголодь, ночлеги в беженских бараках, где зимой на полу лежал иней. Работа для куска хлеба и одновременно занятия в Высшей Школе Политических Наук. В 1925 году — диплом об окончании университета. (Сейчас А. Седых — член Нью-Йоркской Академии Политических Наук). Затем 22 года интенсивной работы в качестве парламентского корреспондента для «Последних Новостей» П. Н. Милюкова — вплоть до дня закрытия газеты во время Второй мировой войны. Дальше — вынужденный переезд в Америку.

Есть в биографии Андрея Седых и бесконечно радостные страницы: женитьба в 1932 году и счастливое пятидесятилетнее супружество (еще один юбилей!) — артистка 2-й студии МХАТ и концертная певица Евгения Осиповна Липовская (Женни Грэй) на всю жизнь стала его верной подругой и энергичной сотрудницей во всех общественных и филантропических начинаниях мужа.



Андрей Седых и Женни Грэй в Америке.
Лонг Бич — 1946 г.

С 1942 года — на третий день по приезде в Америку — Седых начал работать в Новом Русском Слове в качестве городского редактора — «сити эдитора». Но долгие годы материальной базой существования была служба в страховом обществе.

Несмотря на загруженность работой, А. Седых не переставал много писать. Его перу принадлежат 17 книг и огромное количество статей на самые разнообразные темы. Некоторые его книги сейчас уже нельзя достать — они стали библиографической редкостью. Первая книга вышла из печати еще в 1926 году. Это были собранные и переработанные очерки «Старый Париж», ранее периодически появлявшиеся в «Последних Новостях» и имевшие большой успех у читателей (регулярно печататься А. Седых начал с 1922 года). За ней последовали другие книги о Париже: «Монмартр»; «Там, где жили короли»; «Париж ночью» (с предисловием Куприна). Дальше выходили книги другой тематики, среди них — «Звездочеты с Босфора» (с предисловием Бунина); «Крымские рассказы»; автобиографическая «Дорога через океан» (о сложном путешествии автора из Франции в Америку во время гитлеровского нашествия на Европу); «Далекие, близкие» — великолепные литературные воспоминания, часто цитируемые и в советской печати (книга вышла тремя изданиями); «Земля Обетованная» (по-английски "This Land of Israel", вышедшая в издательстве Мэкмиллан двумя изданиями); «Иерусалим, имя радостное», и последняя по счету книга странствий «Пути, дороги», о которой написал за два дня до своей смерти Н. Е. Андреев — специально для этого сборника.

* * *

О творчестве Андрея Седых писали и пишут лучшие зарубежные писатели и литературоведы. Мне лишь хочется еще раз подчеркнуть органическую связь его творчества с самой жизнью, ибо литература для него и есть — жизнь. Отсюда, быть может, живость его диалогов, искусство писать без аффектаций — ясно, тепло и увлекательно. Отсюда же и поразительное умение вызвать сочувствие к обездоленному ближнему, привлечь к участию в благом деле (А. Седых создал при НРС Фонд Срочной Помощи, оказывающий материальную поддержку тысячам нуждающимся рус-



Париж. Чествование друга русских, депутата Мариуса Мутэ. Первый ряд слева В. А. Маклаков, Мариус Мутэ, П. Н. Милюков. Организатор чествования Андрей Седых во втором ряду в центре.

ским эмигрантам. Всем хорошо известны и его проникновенные статьи-призывы к ежегодному сбору в пользу Литфонда, председателем которого он является много лет. Долгие годы председательствует он в Обществе Американо-Европейских Друзей ОРТА и состоит членом многих литературных, общественных и политических организаций).

Будучи по природе «душевно-округленным» (выражение Бунина), Андрей Седых пишет без эмоциональных безудержностей, избегая лабиринты неконтролируемого сознания и подсознания. В умении одной фразой, иногда одним остроумным, не грубым, словом очертить человека — заключается, может быть, одна из характерных черт творчества Андрея Седых.

Сложным был 1973 год. После смерти М. Е. Вейнбаума на плечи Седых свалилось тяжелое бремя — единоличное руководство самой распространенной русской газеты за рубежом. Не щадя сил, работая по 16 часов в сутки, новый редактор справился с этой задачей. В короткий срок он значительно повысил качество печатаемого материала, привлек к работе в газете остатки «старой гвардии», живущей в Европе, литераторов и литературоведов из третьей волны. Новый редактор обратил особое внимание на воскресный номер газеты, сделав его необыкновенно интересным для читателей, любящих литературу, историю и искусство.

В конце семидесятых годов газете пришлось пережить ряд тяжелых кризисов: бумажный голод, вызванный забастовкой в Канаде, и два уголовных преступления, направленных непосредственно против Нового Русского Слова (как известно, в 1977 и в 1978 годах были совершены разрушительные поджоги с целью уничтожить газету).

Хочется привести несколько строчек главного редактора из его статьи в НРС от 6 июня, 1978 года: «Эти три недели ушли на налаживание редакционной работы в новых, временами немыслимых условиях. Труд не оказался напрасным: газета выходила бесперебойно, мы не пропустили ни одного номера... Победила сила воли и твердая вера в то, что наше дело — нужное и правое... Можно убить, поджечь, уничтожить на короткий срок, но запугать и поставить нас на колени нельзя... Мы будем выходить — стиснув зубы, работая из последних сил...»

Эти строчки — не только наша эмигрантская история. Они дают представление о характере их автора — твердости, силе воли, — без которых невозможна была бы сложная административная работа в трудное для газеты время.

Да и в «мирное время» не легок жребий редактора русской газеты. Вот еще строчки из статьи Андрея Седых от 13 февраля 1979 года: «Рабочий день редактора начинается с чтения писем. Их много. Иногда добрая сотня, а то и больше... Пишут доброжелатели и недруги: одни хвалят газету, другие жестоко ее критикуют. Множество самых разнообразных просьб и жалоб... А читатель у нас очень пестрый... Одни ценят философские статьи, других интересует только информация, третьи жаждут политических статей и хотят знать, что происходит в Советском Союзе... Даже литературный отдел вызывает протесты... Каждому

читателю мы стараемся дать то, что его может заинтересовать и что ему ближе всего...»

Но самое главное, ради чего стоит трудиться: «К счастью, хотя критиков много, но людей по настоящему оценивших и любящих нашу газету еще больше».

* * *

Я познакомилась с Андреем Седых в тот год, когда он стал главным редактором Нового Русского Слова. Тогда должен был выйти (конечно на собственные средства) первый сборник моих стихов. Я попросила Якова Моисеевича напечатать в газете одно стихотворение, чтобы мое, покрытое мраком неизвестности имя хотя бы раз промелькнуло в печати перед выходом сборника. Редактор исполнил просьбу. Затем время от времени стал печатать подборки моих стихов. Потом я начала регулярно писать для газеты статьи и рецензии.

Теперь я пишу и для американских изданий, выступаю с чтением стихов или лекций в университетах и колледжах. Я знаю, что мой случай не единственный. Знаю, что редактор Нового Русского Слова помог многим начинающим авторам стать на ноги, — помощь, не измеримая никакими материальными благами.

Те, кто близко знаком с Яковом Моисеевичем, знают его как доброго и верного друга, интересного собеседника, человека большого ума, остроумного и наблюдательного, тонко понимающего искусство — классическую музыку и балет.

Сейчас газета — любимое детище Андрея Седых — процветает. Однако даже выживать в век умирающих газет не так просто. Иногда трудна и чисто психологическая обстановка. Много лет тому назад писал Георгий Адамович — писал очевидно о нас, о второй эмиграции: «Появилась молодежь новая, с совсем кажется иными требованиями, иными стремлениями».

Газете теперь нужно снова ответить иным требованиям, отразить иные стремления. Все это не так просто. Во всем этом — дебри работы. И — газетная журналистская ежеминутность, требующая мгновенного отклика на происхо-



На вечере Совета Славянского Наследия.
Слева направо: Джордж Войнович, предс. организации Славянского Наследия Америки, Женни Грэй, Валентина Синкевич, американские писатели Роберт и Сюзанна Масси, Симон Крегар, вице-председатель Совета Славянского Наследия, Андрей Седых, княгиня Мария-Тереза Друцкая, казначей Совета.

дящие события, теряющие остроту завтра или послезавтра. Редактор должен быстро знакомиться с людьми, сразу распознавать их характер, угадывать их потенциал. Интересный, напряженный и сложный образ жизни с неизбежными удачами и неудачами, со многими друзьями и многими недругами.

Круговорот рабочего дня. Новые лица — сотрудник, посетитель, взволнованный автор; бывшая знаменитость, превращенная жизнью в ничто; бывшее ничто, как будто бы превращающееся в нечто. Талант, который нужно поддержать; ничтожность, которую нужно сдерживать. Поездка в Вашингтон на пресс-конференцию. Дружеская открытка из Парижа: «Обедал с Максимовым, завтра будем обедать у Ростроповича...» Заметка в Хронике: «Редакцию НРС посетил...» Необходимо прочесть материал. И нужно обдумать очередную еженедельную статью. И сотнями приходят письма...

Больше всего на свете любит Андрей Седых ремесло журналиста. Газета для него — цель жизни и способ служения людям. Неистощим в нем здоровый энтузиазм. И главное: будь редактор менее крепок духом, не вынести бы ему на своих плечах огромной ответственности за сохранение и процветание единственной ежедневной антикоммунистической русской газеты за рубежом.

От всей души пожелаем еще долгих плодотворных лет дорогому юбиляру!

М. ВЕЙНБАУМ

ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА *

Тридцать лет! Неужели тридцать? Не ошибка ли? В ежедневной газете день на день, год на год не похожи. Так и не замечаешь их быструю смену.

Но дата проверена. Сегодня исполняется ровно тридцать лет со дня вступления Андрея Седых в состав редакции Нового Русского Слова.

В Соединенные Штаты Андрей Седых приехал 20 февраля 1942 года. В нашей редакции он появился два или три дня спустя. Мы познакомились, побеседовали. На прощание я ему сказал: «Сегодня четверг, приходите на работу в понедельник». Так в понедельник 24 февраля началось его сотрудничество в Новом Русском Слове.

* * *

Заочно я знал Андрея Седых много раньше. Знал его по нашей переписке в тридцатых годах; знал как быстро выдвигавшегося члена редакции парижских «Последних Новостей», как корреспондента рижской газеты «Сегодня», а несколько позже и нашей газеты.

Не помню точно, когда в Новом Русском Слове была напечатана его первая корреспонденция из Парижа. Но в одном из сохранившихся у меня его писем — от 3 марта 1933 года — он подтвердил, что получил 21 января того же

---

* Написано в 1972 г. — к тридцатилетнему юбилею работы Андрея Седых в редакции Нового Русского Слова.

года через В. Д. Крымского мое предложение сотрудничать в нашей газете и начал посылать статьи в начале февраля.

Дальше следовали такие строки:

«Посылаю Вам главу из моей книги, выходящей сейчас из печати. Может быть подойдет. Как я уже писал В. Д., несмотря на чрезвычайно скромные условия, идущие вразрез с нашими представлениями об американских гонорарах, я буду работать с удовольствием. *Я, кажется, и без того старый сотрудник Нового Русского Слова»*.

Подчеркнутые мною слова содержали деликатный намек на то, что я перепечатывал временами его статьи из «Последних Новостей» и «Сегодня».

Можно поэтому сказать, что печататься в нашей газете Андрей Седых начал не тридцать, а, пожалуй, около сорока лет назад.

Во всяком случае, когда в 1935 году приблизилось 25-летие Нового Русского Слова, я разослал всем нашим видным сотрудникам письма с просьбой прислать для юбилейного номера статьи и автобиографические о себе сведения.

Андрей Седых ответил:

«Биографии у меня нет. 18-летним юношей я продавал на улицах Константинополя русские газеты.

Теперь я сотрудничаю в этих газетах.

Это все. И для журналиста этого вполне достаточно».

С приближением гитлеровских войск к Парижу «Последние Новости» прекратили свое существование. Почти все сотрудники газеты разъехались. Все они постепенно перебрались в Соединенные Штаты и начали писать, а то и яростно спорить на страницах нашей газеты.

Очутившись со своей спутницей жизни, Евгенией Иосифовной, в тогда еще свободной зоне Франции, Андрей Седых обратился ко мне с просьбой помочь им получить визу в Америку.

«Вы очень нас этим обяжете, — писал он. — Я здоровый человек и пойду работать на завод».

Строки эти меня рассмешили. Я хотел заручиться хорошим сотрудником, а он решил, что другой работы, кроме заводской, ему здесь не найти. Такова, дескать, Америка.

* * *

Марк Александрович Алданов однажды сказал мне, что лучшие свои статьи С. Л. Поляков-Литовцев написал в Новом Русском Слове и объяснил это тем, что только в нашей газете этот талантливый фельетонист получил полную свободу писать о чем угодно и как угодно.

Меня очень удивило, когда в другой раз буквально то же самое мне сказал А. А. Поляков о писателе М. М. Осоргине (настоящая фамилия — Ильин).

Мне вспомнилось все это, потому что лучшие свои статьи Андрей Седых написал и еще напишет в Новом Русском Слове. Но в данном случае никакой моей заслуги в этом нет.

У Андрея Седых всегда было легкое перо; способность находить интересное и нужное; уменье подать все это в увлекательной манере. Но с годами он созрел, углубил свои знания, усовершенствовал свое мастерство.

* * *

Как журналист и писатель, Андрей Седых читателям Нового Русского Слова хорошо известен. Но этим его деятельность далеко не исчерпывается.

До Первой мировой войны русская эмиграция из России была здесь почти сплошь крестьянская (в большинстве из Западного края) и сектантская.

Сектанты селились сплоченными сельскохозяйственными колониями. В стране, где существует полная свобода религиозных убеждений, им нетрудно было отстаивать свои интересы и жить спокойно.

Иначе обстояло дело с молодыми гродненцами, минчанами и пинчанами, приехавшими сюда на заработки. В большинстве случаев они оставались в больших городах, работали в потогонных мастерских, на фабриках и заводах. Их жестоко эксплуатировали; разное жулье их обманывало и нередко до нитки обдирало.

Не зная языка, не зная, как и где искать защиты, они искали и находили ее в редакции нашей газеты. С годами помощь нашим читателям и российским эмигрантам сделалась у нас обязательной.

Нечто подобное Андрей Седых делал в «Последних Новостях», а позже, в гораздо большей мере, в Новом Русском Слове. По его инициативе был, между прочим, создан Фонд Срочной Помощи. Когда, несколько лет назад,

Фонд был инкорпорирован, он его возглавил. Хорошо также известно его деятельное участие в Литературном Фонде.

Заслуг Андрея Седых перед газетой и ее читателями не перечесть. Он основал и ведет отдел хроники. Вскоре после своего приезда в Соединенные Штаты он убедил меня пригласить в сотрудники Александра Абрамовича Полякова, который в течение 2 лет облегчал мою собственную работу в газете.

Много сделал Андрей Седых и для газеты и для ее читателей.

* * *

Газетная работа крайне нервная. Она волнует и нередко сопровождается разногласиями: политическими, личными, а иногда и острыми спорами.

Бывали и, вероятно, будут у меня разногласия с Андреем Седых. Но мы всегда разногласия эти легко улаживали. Так оно должно быть между друзьями.

Когда после смерти В. И. Шимкина газета перешла полностью в мои руки, я, не задумываясь, предложил Андрею Седых стать совладельцем. Нам недолго было столковаться и наша долголетняя дружба еще более окрепла.

Сегодня, в день тридцатилетия, (а то и почти сорокалетия) сотрудничества Андрея Седых в Новом Русском Слове я хочу пожелать ему еще много лет плодотворной деятельности на пользу усыновившей нас страны, русских американцев и всего русского Зарубежья. А Евгении Иосифовне (по сцене Женни Грэй) желаю продолжения ее высоко полезной деятельности в Литературном Фонде.

Я знаю, что мои пожелания разделяют все члены редакции, конторы, типографии и экспедиции Нового Русского Слова, все сотрудники газеты и все наши друзья-читатели.

ИВАН БУНИН

О ПРОЗЕ АНДРЕЯ СЕДЫХ*

ПО СТАРОЙ ДРУЖБЕ, Андрей Седых написал мне, что издает книгу своих новых рассказов, а вместе с письмом прислал дубликат ее корректурных гранок, прося меня сказать ему «откровенно, по секрету», что я думаю о ней, и, зная его талантливость, я прочел ее немедля и с таким удовольствием, что решил высказаться не «по секрету», а гласно, небольшим предисловием к ней.

Я вспомнил все мое знакомство с Андреем Седых как с писателем и человеком. Первые его писания, ставшие известными мне, — во времена, теперь уже далекие, — были его отчеты в парижских «Последних Новостях» о заседаниях французского парламента, мало для меня интересные, составляемые, конечно, наспех, с неизбежными шаблонами на французский лад («на трибуну поднимается такой-то...»); тут меня заинтересовал только слух о том, что Андрей Седых человек веселый, бойкий, находчивый; кричит на него, например, в редакции «Последних Новостей» вечный крикун А. А. Поляков: «До чего, черт вас возьми совсем, валяете вы отчеты как попало!», а тот ему в ответ: «А вы что-же, хотите, чтобы я за 25 сантимов построчных переписывал свои отчеты по сто раз, как Лев Толстой свои романы и рассказы?» Потом я впервые прочел его полубеллетристические рассказы о жизни в Париже низших слоев русской эмиграции, его книгу «Люди за бортом», — и был даже удивлен: так отлично написана была она, так легко, свободно, разнообразно, без единого фальшивого слова, с живыми

* Предисловие к книге «Звездочеты с Босфора».

лицами, с присущим каждому из них языком. Тут уже явно сказались особенности Андрея Седых: его юмор, живость, уменье схватывать на лету все, что попадает в поле его наблюдений, мгновенно пользоваться схваченным... В те нобелевские дни, когда он был моим секретарем и ездил со мной в Стокгольм, я стал даже побаиваться этих его способностей. Вот, например, утро того дня, когда я должен принять из рук шведского короля Нобелевский диплом и ответить ему благодарностью, и я шутя вздыхаю и говорю: «Ох, Боже мой, напрасно я жил в Париже в отеле «Мажестик», боюсь, что нынче брякну королю от смущения вместо Votre Majesté — Votre Мажестик!», а через несколько дней после этого в ужасе хватаюсь за голову, получив из Парижа «Последние Новости» с очередной телеграфной корреспонденцией Андрея Седых о моей жизни в Стокгольме, кричу ему: «Разбойник, что же это



1933 г. Встреча И. А. Бунина (в центре) на вокзале в Стокгольме. Слева Андрей Седых. Справа Г. Н. Кузнецова и С. Олейников.

вы со мной делаете! При вас слова нельзя сказать! Вот вы уже и это телеграфировали — мою дурацкую шутку насчет «Мажестика»! Неужели вы не понимаете, что это будет, если шведы, люди строгие, узнают про нее, про то, что она попала в печать!» А он в ответ только пожимает плечом: «Что значит — дурацкая? Никакая хорошая шутка не может быть дурацкой. И нет ровно ничего обидного для шведов в вашей шутке. Главное же то, что скучный журналист достоин виселицы, к которой я еще не имею ни малейшей склонности». Зато в других отношениях был он секретарем хоть куда. Сколько давал за меня, замученного, бесед со всякими иностранными газетчиками, как решительно расправлялся с грудами писем, что я получал от несметных поздравителей и просителей, как ловко и спокойно выставлял за порог всяких «стрелков», осаждавших меня в «Мажестике»! В те часы, когда он отсутствовал, я часто сидел, запершись на замок, и не даром: бывали «стрелки», обладавшие удивительным нахрапом, анекдотическим бесстыдством. Однажды сидел я вот так, под замком, не отвечая на стуки в дверь. Раздается наконец стук настолько крепкий, требовательный, что я подхожу к двери:

— Кто там?

— Отворите, господин Бунин, — отвечает грубый, простонародный бас. — Нам нужен личный разговор по очень важному делу.

— Кому нам?

— Мне и моим товарищам.

— Я нездоров, никого не принимаю, должен лежать в постели.

— Не стесняйтесь, пожалуйста, мы же не дамы.

— Да в чем дело?

— Дело в русской национальной ценности, которую вы обязаны по своему положению лавреата приобрести, чтобы она не попала в руки кровавых кремлевских палачей.

— Что за ценность?

— Топор императора Петра Великого. Его личная собственность с государственным сертификатом и приложением печати.

— Вы, кажется, не в своем уме. Какой такой топор? Очевидно тот самый, каким Петр прорубил окно в Европу?

— Этим не шутят, господин Бунин! — уже с угрозой, с хамской мрачностью возвышает голос мой собеседник

за дверью. — Не имеете права шутить. Это священная национальная ценность. И только в виду этого уступаем всего за пятьсот франков с ручательством...

С тех пор прошло почти пятнадцать лет. Андрей Седых издал в Париже еще несколько книг, потом стал американцем, прислал мне недавно свой фотографический портрет: сидит, уже в очках, серьезный, за письменным столом, что-то пишет... На днях получаю Новое Русское Слово, читаю его рассказ «Миссис Катя Джэксон» — и качаю головой: это только передача рассказа Кати, русской девушки, неожиданно ставшей англичанкой, о том, что она пережила в немецком плену, а после плена — перед грозившим ей, как и многим, многим другим, возвращением в Россию, во избежание чего многие из этих многих «запирались в своих бараках, когда за ними приезжали на грузовиках красноармейцы, пели «Со Святыми упокой», перерезывали себе вены или лезли в петлю»; это передача одного из тех рассказов, что мы, по справедливому замечанию самого Андрея Седых, «уже тысячу раз слышали и читали», но я все-таки качаю головой с навернувшимися на глаза слезами: как передано! В передаче таких рассказов одно-единственное неверное, лишнее, пошлое слово может погубить все дело, все впечатление от рассказа, невзирая на все его ужасающее ум и душу содержание. А вот Андрей Седых затуманил мне глаза, ни единым звуком не оскорбил моего писательского, теперь, по моему великому писательскому опыту, уже «абсолютного слуха»...

А сейчас передо мной целый сборник его новых рассказов. Как почти во всяком таком сборнике, рассказы и тут не равноценны, конечно. Но то, что ценно, — по главному признаку таланта, то есть опять таки по свободе, присущей писаниям Андрея Седых, по легкости и неподдельной простоте, с которой он «передает» когда-то пережитое свое и чужое, — опять заставляет меня качать головой, на этот раз уже весело: какой молодец этот американец в очках, такой будто серьезный, а на деле, во многих рассказах, все еще как будто прежний, бойкий сотрудник А. А. Полякова и мой секретарь! И какая художественная памятливость на давно, давно пережитое! И какая богатая лингвистика!

Новые рассказы Андрея Седых бесхитростны, не претендуют поражать читателя, большинство их радует своей шутливостью и изобразительностью. Два прекрасных рассказа —

«Миссис Катя Джэксон» и «Пашино счастье» — выделяются в его новой книге как нечто совсем особое среди того, что преобладает в ней. Преобладает другое, шутливое, беспечное, живописное: это — «Звездочеты с Босфора», затем крымские, черноморские рассказы — «Бартыжники», «Хайтарма», «Гидра», «Чебуреки» — и, наконец, «Мой легионер» и «Парад, аллэ» — этот последний о цирке. Тут все чудесно именно по своей непритязательности и жизненности, а кроме того и по тому, что я назвал «лингвистикой» Андрея Седых, то есть по богатству говоров, жаргонов, которыми в таком совершенстве, так безошибочно, так точно владеет он, рассказывая о крымских татарах и греках, о портовых босяках и о людях на морских грузовиках вроде «Гидры», об острожнике Сеньке Бараданчике, о французском легионере, подольском крестьянине, ухитрившемся без всяких паспортов и пропусков сходить в «советскую» Россию и благополучно оттуда возвратившемся, — «але е ретур, по-нашему, легионному», — о цирковых борцах («чемпион Украины Стыцура», «дитя волжских степей чемпион Поволжья Рыбаков», «чемпион Черноморского флота, пропившийся моряк Посунько», чемпион Грузии Шота Чалидзе с его утрированным акцентом: «хачу бароться! арбитр, давай минэ бароться Абдулаева!»)... Я тринадцать раз был в Константинополе и могу сказать тоже безошибочно, как живо дал мне почувствовать Андрей Седых в своих «Звездочетах» то трудно передаваемое, что присуще Константинополю; я хорошо знаю Крым, Черное море, не мало плавал даже и на грузовиках вроде «Гидры» — то же могу сказать об искусстве Андрея Седых и в этом случае; и цирк ему удался не хуже Куприна, даже лучше, по-моему...

Впрочем, пора кончить — чтобы не перехвалить его.



И. А. Бунин и Андрей Седых в Стокгольме, 1933 г.

ДОРА ШТУРМАН

ДАЛЕКИЕ И БЛИЗКИЕ АНДРЕЯ СЕДЫХ

Мысли по ходу чтения

ГОВОРЯТ, что ирония — самый легкий способ казаться умным, а самый легкий способ казаться передовым — отрицание.

Отрицание итогов чужого опыта естественно для подростка, восстающего против готовых истин. У созревающего ума нет еще материала для исследования и отбора. Юношеский максимализм все предлагаемое старшими просто отбрасывает, не понимая, что нонконформистское мышление проникнуто безвыходной зависимостью от отрицаемого. Несмотря на свою вроде бы смелость, нонконформизм банален и, конструируя свои суждения, пользуется рутинным методом антитезы. Иногда нонконформизм из возрастной особенности подростка превращается в идеологию взрослых. Чаще всего это происходит в эпохи, когда общепринятые идеалы переживают жестокую проверку опытом. Как взбунтовавшиеся язычники, нонконформисты (они же нигилисты) врываются в кумирни и дубиной разбивают вдребезги вчерашних идолов, которые не сделали мир счастливым. Но идолы — это всего-навсего овеществление наших дум и душ, и заглянуть надо поглубже в себя самих.

Казалось бы, трудно не увидеть, что трагедия XX века состоит в наступлении радикализма и различных идеологических мономаний на гуманизм и свободу духа. Между тем наш современник крошит кувалдой тотального отрицания именно гуманизм и либерализм. Их бить легко: они достаточно беззащитны. Мы бьем по ним, а не по их разрушителям,

и стремление некоторых «чудаков» защитить их называем «ностальгией о прошлом». Мы крушим ироническими, скептическими, нигилистическими и прочими молотами «скомпрометированные» либерально-демократические идеалы и не видим, как ухмыляются кровожадные идолы, которые их сожрали в одних странах и готовятся сожрать в других.

Нынче бранить либералов модно и справа, и слева. Впрочем, что теперь право, что лево? Сегодня принято выводить тоталитаризм из либерализма, хотя диктатура есть продолжение демократии не в большей мере, чем мы с вами — продолжение съеденной нами же курицы.

В отличие от многих своих современников, Андрей Седых не страдает инфантильным антилиберализмом, обидой на идеалы, которым трудно сохранить верность и которые нелегко защитить.

Книга его замечательна изящной и ненавязчивой независимостью, с которой он остается верен непреходящим ценностям гуманизма и демократии.

Мне уже случалось и слышать, и читать, что автор «Далеких, близких» предпочитает говорить о привлекательных чертах своих персонажей, обходя худшие. Не думаю, что это так. Я не могу уловить всех нюансов подтекста книги, но меня покоряет добротность и определенность системы отсчета автора в оценке героев книги. Его критерии не корректируются ни голосом идеологии, ни диктатом моды. Андрей Седых не получает удовольствия от обличения. Его огорчает необходимость говорить о ком-то плохо. Но есть вещи, которых он органически не приемлет. Чуждый высокомерия и злорадства, он лишен снисходительности к душевной низости. Масштаб и свойства явлений нравственных очерчены им без всякой двусмысленности.

Так, литературная одаренность Алексея Толстого не окупает в глазах Андрея Седых гражданской и человеческой низости «советского графа», а Бунина не лишает величия его трудный, подчас несносный характер. Характер, иногда даже малоприятный, не отождествляется с внутренней основой человеческого существа: с пониманием добра и зла, с отношением к правде и лжи.

Книга Андрея Седых отстаивает представления глубокие и содержательные против представлений расхожих, но ложных.

«Богемность» кажется многим людям первым шагом в искусство, симптомом неординарности. Несчастье и крест некоторых высоких натур: непостоянство, одиночество и отщепенство — в толпе подражателей обретают неодолимую мещанскую пошлость. Подспудно, без деклараций, без чистоплюйства и поучающей интонации (автор слишком много пережил и видел, чтобы быть ханжой) возникает в книге Андрея Седых из опыта многих жизней апофеоз подвижнического труда — одного из пороговых условий творчества.

Парижанину Андрею Седых знаком и доступен вкус артистической неустроенности, эстетизм романтической бесшабашности и нерасчетливости. Неприкаянные и грациозные, мелькают на некоторых его страницах силуэты художественного Парижа. Гамма его отношения к ним широка: от любования и мягкого юмора до сострадания.

Но ближе, милее ему в его героях строгая обязательность неустанной работы. Тридцать восемь страниц занимают одни только названия работ Милюкова. Тома сочинений Алданова — история России от Екатерины II до Сталина. Бессмертные неповторимые вокальные партии. Стих и проза. Музыкальные сочинения. Грустный смех трех юмористов. Следственные дела Бурцева. Подвижничество неустанно работающих интеллигентов...

Читателя, привыкшего к идеологической избирательности, советской и антисоветской, поражает не только психологическая совместимость автора с людьми глубоко различных характеров, но и мировоззренческое многообразие лиц ему близких и симпатичных.

Андрей Седых, по его неоднократному утверждению, — антикоммунист. Но ведь антикоммунизм — это еще не позиция. Один из первых постулатов формальной логики гласит, что чистое отрицание не есть суждение. Люди в зоне, малой или большой, объединены общим врагом. Свобода же разъединяет. Один антикоммунист на свободе вдруг оборачивается таким же моноидеологом, как коммунисты. Другой — объявляет себя либералом и плюралистом и находит противника во вчерашнем союзнике. Свобода не может не разъединить людей, но она же потом и объединяет их по новым, положительным признакам.

Современные критики либерализма говорят о беспомощности или ошибочности общечеловеческого подхода к людям. Они предлагают нам новую (или одну из старых) априорную

избирательность: религиозную, национальную, моноидеологическую. Они забывают, что там, где совсем иной гуманистический подход к человеку стал фактом жизни, существование человека и общества бесспорно легче, сноснее. Для Андрея Седых и его близких личностей, гуманистический подход к идеям и людям стал фактом жизни, чертой мироощущения и этики. Антикоммунизм Андрея Седых не предполагает замены одной («плохой») идеологической мании другой («хорошей»). Автор воспоминаний и его близкие отвергают силу, которая уничтожает дорогое их сердцам свободное человеческое единение, и при этом знают, чего они хотят. Последнее случается достаточно редко.

На почве моноидеологических моделей возникает война всех против всех. На почве либерального, то есть плюралистического мироощущения рождаются плодотворные личные и социальные союзы и компромиссы.

Может быть, главное несчастье современной оппозиции советскому строю — обилие внутри нее моноидеологических антитез коммунизму. Еще не власть и не строй, а всего лишь направления мысли, чаще всего расплывчатые и смутные, а уже выносят безапелляционные приговоры другим течениям мысли. Один тоталитаризм дробится на множество взаимоисключающих: националистических, религиозных, социальных. И это ужасно, ибо сулит хождение по кругу, хорошо знакомому.

У кого что болит, тот о том и говорит. В книге Андрея Седых тема, которую я подчеркиваю, не является главной. Скорее, это даже не тема книги, а фон, на котором разворачивается повествование. Но для меня утверждаемое Андреем Седых в его книге искусство цивилизованного сосуществования людей разномыслящих — вещь первостепенно важная. Среди лиц, симпатичных, близких, а, зачастую, и дорогих Андрею Седых, есть эсеры и монархисты, кадеты и консерваторы, западники и почвенники, сионисты и космополиты, авангардисты и традиционалисты, евреи и русские, христиане, иудеи и люди неверующие. Он лишь мимоходом и по случайным поводам говорит об этих признаках своих героев. Его занимает их повседневная живая этика: искренность и отвращение к чужой неискренности, независимость и уважение к чужой свободе. От бесчестности, от готовности служить низменным силам террора и порабощения он отталкивается бесповоротно, со сдержанной и брезгливой немногослов-

ностью. Эта твердость тем более впечатляет, что о многих слабостях и заблуждениях своих героев Андрей Седых сожалеет, но отводит им второстепенное место. Его отношение к людям богато интонациями и оттенками — от любовного поклонения до юмора и глубокой иронии, но полное неприятие адресовано только людям, служащим лжи и насилию.

Бурцев, Алданов, Милюков — много ли общего? Немного, но оно в главном: безупречная, подвижническая фундаментальность и честность в работе, научной, писательской и политической. Отказ от априорных концепций. Исследование в качестве основного способа доказательства истины. Отсутствие культа собственной миссии и наличие культа высоких требований — прежде всего к себе.

Может быть, потому, что посягнуть на советскую власть, действительно, нечеловечески трудно, мы, решившись на это, преисполняемся избыточного самоуважения. Мы легко преступаем через чужие репутации, чужие самолюбия и чужую преданность. Нам чуть ли не в каждом встречном видятся толстокожие носороги. Мы демонстрируем удивительный дефицит скромности и воспитанности. Впрочем, удивительный ли? Этическая культура, которой проникнуты Алданов, Рахманинов, Милюков и многие другие герои «Далеких, близких», включая автора, насильственно разрушается в России более полувека. Вытоптана этическая преемственность, уничтожено независимое крестьянство с его традициями и его этикой, одна генерация интеллигенции истребляется (в ее непокорной части) за другой. Как может нравственная воспитанность быть свойственной современным советским людям в такой же мере, как, скажем, авторам «Вех» или кругу Андрея Седых?

Для того, чтобы оценить морально-этический ущерб, нанесенный народам СССР коммунистической диктатурой, достаточно бегло взглянуть на эволюцию национальной психологии когда-то российской (русской и нерусской), ныне — советской (даже в своем диссидентстве) интеллигенции.

Для либерализма, ныне столь зло ругаемого, приоритет большинства спорен и относителен. Либерализм преисполнен уважения к лицам, меньшинствам и группам. Тоталитаризм подавил большинство, меньшинства, группы и личность, установив неограниченную власть над ними. К чему, казалось бы, следовало от него возвратиться, если не к либерализму, да еще к хорошо защищенному, обороняющемуся либерализ-

му? Какой подход, кроме либерального (в монархии или в республике — безразлично), позволяет всем элементам нынешних обществ надеяться на сносное сосуществование лиц, меньшинств, групп и большинства? Казалось бы, никакой иной. Но и в этом случае реактивное настроение заглушает голос здравого смысла. Советский агрессивный интернационализм оказался беспощадной «денационализацией» (термин Ф. Энгельса), уничтожением национального своеобразия и свободы (как и всех прочих свобод). Да здравствует крайний национализм!

Здесь неуместно исследовать особенности различных национальных движений, включая русское в современном СССР. Осмелюсь только заметить, что во всех своих нелиберальных, недемократических, ксенофобийных вариантах эти движения реактивны, а не сознательны. Это автоматическая реакция на уничтожение диктатурой национальной свободы и психологии. Это в существенной мере и обманутость ее дешевым извечным трюком «разделяй и властвуй».

Национализм бывает связан и не связан с дискриминацией других народов. Национализм, предполагающий чью-то дискриминацию, — это реактивная истерия, а не освободительное мировоззрение. Для досоветской российской «интеллигентной интеллигенции» (Г. Померанц), русской, обрусевшей это было самоочевидно.

Сегодня некоторые израильские сионисты, недавно покинувшие Киев или Москву, и (в унисон своим близнецам-противникам) некоторые русские оппозиционеры всерьез решают вопрос о том, имеют ли право евреи, живущие на Руси с дотатарских времен, рассуждать о российских делах. Словно кто-то властен даровать им или отнимать у них это право! Как будто избирательная свобода по идеологическому, партийному или национальному признаку не синоним рабства.

Высокое культурное содружество, разноплеменное российское интеллектуальное воинство, к которому принадлежат Андрей Седых и его далекие, близкие, единодушно игнорирует расистские бредни — как инициативные (нацистские и коммунистические), так и реактивные. Естественное отношение интеллигентного и свободного человека к чужому и своему достоинству распространяется и на вопросы национальные. Сегодня в затопляющей мир интернационалистской и националистической демагогии это спокойное, здравое, гуманное

отношение особенно радует. Оно не посягает ни на чью независимость и самобытность и не воздвигает между людьми и народами непроходимых границ и стен.

Андрей Седых не ощущает обязанности быть консерватором или прогрессистом. Он являет собой нечастый ныне пример не реактивности мышления, а его поступательной свободной работы. С ним не случайно сближаются столь разные люди: их притягивает дар понимания, умение почувствовать в каждом лучшее, на него опереться. Очень хороши концовки многих миниатюр, позволяющие читателю почувствовать великую разность людей, на которую нельзя посягать без ущерба для посягающего.

Горько, что нынешняя Россия до такой степени не знает эмиграции. Эмиграция более полувека живет внутренними делами России, но, пожалуй, лишь человек, долгие годы проработавший в массовой советской школе, может прочувствовать, насколько радикально удалось диктатуре изолировать Россию от эмиграции. Не потому ли в книге Андрея Седых так много печали?

Автору «Далеких, близких», по его словам, хочется уйти в своих очерках от «ненавистного я» и создать повествование эпически точное. Но только благодаря постоянному ощущению читателем этого авторского «я» повествование превратилось в единую книгу. Хочется верить, что Россия прочтет эту книгу раньше, чем повесть о жизни превратится в литературный памятник.



Встреча друзей: Мстислав Ростропович, Андрей Седых, Галина Вишневская, Женни Грэй.

НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ

АНДРЕЙ СЕДЫХ — МАСТЕР ОЧЕРКА

Имя АНДРЕЯ СЕДЫХ как редактора и публициста старейшей русской зарубежной газеты Новое Русское Слово известно в самых широких кругах читающих по-русски, включая и Советский Союз, поскольку время от времени он получает там «правительственные награды», то есть его «разносят» в «руководящих органах печати». Но сейчас я позволю себе сосредоточить внимание на другой литературной стороне дарования Седых как «работника пера», а именно на его очерках.

В «золотой век» русской эмигрантской литературы, то есть до Второй мировой войны, к имени Андрея Седых часто прибавлялось «ведущий зарубежный очеркист» или, как однажды сказал пражский остроумец, сатирик, автор «Кузькиной матери», Василий Федоров на «литературном чаю» журнала «Воля России» — «...Седых — несомненный королевич, обещающий стать самодержцем». Федоров полагал (и его мнение разделяли многие), что талант Седых выше, чем у других зарубежных или советских очеркистов, включая и политические упражнения в этом жанре Ильи Эренбурга (подразумевалась, главным образом, его книга «Виза времени»).

В таком определении — признание Седых как мастера этого литературного жанра, возникающего на умении сочетать три элемента: меткое описание (без нарочитой драматизации материала, принятого в беллетристике), точность фактического репортажа и актуальность сюжета.

Позднее наш автор показал себя также мастером короткого рассказа и, в частности, юмористического повество-

вания (жанр труднейший: смотри его замечательные «Крымские рассказы») и умелым портретистом-мемуаристом (смотри его книгу «Далекие, близкие»).

Тем не менее, Седых более всего занимался очерками: первая книга его «Старый Париж» издана была в 1926 г., тогда же, когда вышел первый русский роман Сирина-Набокова «Машенька». В 1927 г. вышли его очерки «Монмартр». В 1928 г. «Париж ночью» с предисловием А. И. Куприна и с обложкой работы художника Александра Яковлева — участие в издании этих двух представителей эмигрантской элиты было знаком высокой оценки молодого автора. Затем вышел целый ряд других книг, начиная с описания королевских резиденций («Там, где жили короли», 1930) и до «Иерусалим — имя радостное» (1969). Уместно вспомнить, что «сам» И. А. Бунин хвалил его прозу, написав предисловие к «Звездочетам с Босфора».

Книга Андрея Седых «Пути, дороги», побуждающая меня к настоящему отклику, составлена из четырех разновременных очерков. Мне — по разным обстоятельствам — пришлось ознакомиться с ними с некоторыми интервалами. Оказалось, что такие перерывы были мне как читателю, полезны, ибо материал каждого из очерков настолько богат и, в буквальном смысле слова, ярок, что необходимо было время для освоения текстов.

Первый очерк — «Там, где была Россия» — мне известен с 1930 г., когда он был опубликован издательством Поволоцкого в Париже. Сейчас он прозвучал для меня особенно выразительно, напомнив уже не только Россию, но и Латвию и Эстонию поры их независимости. Какая жалость, что тогда я не встретился с Седых, а он бродил, видимо, в одиночестве, по удивительнейшему, по-моему, одному из красивейших в Европе парков — Екатеринентальскому, разбитому в Ревеле на фоне моря Петром Великим в честь его жены императрицы Екатерины I.

Как раз в это же время я сидел на смежной улице, занимаясь подготовкой молодежного издания «Новь», редактированного мною в годы 1928—1930. Уверен, что мне удалось бы уговорить Андрея Седых посетить в Эстонии также старообрядческий район Причудья, иной по духу, чем раскольники в Латвии, и славную в Российской истории Нарву, в которой вся восточная часть города за быстрой широкой рекой и знаменитым водопадом была осенена башнями Иван-Города,

построенного в конце XV века при Иване III, на полноводной Нарове против ливонского Германовского замка. Вся эта часть города казалась сугубо русской по населению. В Нарве он мог бы встретиться с издателями и журналистами старейшей русской газеты той поры «Старый Нарвский Листок», существовавшей с 1889 г., а также поехать на пароходике в Гунгербург (Усть Нарову), курорт на Финском заливе, прославленный поэтом Константином Случевским, там обитавшем, и где частенько бывал Игорь Северянин.

А в Эстонской столице я повел бы парижского автора прежде всего в редакцию журнальчика «Вестник Союза русских просветительных и благотворительных организаций», очень живую точку русской общественности в Эстонской республике, а также показал бы ему изумительную библиотеку общества «Русская школа в Эстонии». Эта библиотека до революции принадлежала Морскому Собранию императорского Балтийского флота и могла похвастать полным набором всех «толстых» русских журналов девятнадцатого и начала двадцатого веков.

Оттуда было рукой подать до внешне и по названию скромного Шоферского клуба, в котором царствовал маг и волшебник русской кулинарии в Ревеле, Федор Иванович Иванов. Он предлагал транспортникам и гурманам, которые включали литераторов, художников и артистов близ находившихся Эстонских и Русского театров, умопомрачительную еду русского стиля: от щей, борщей, рассольника или окрошки, рыбных и грибных блюд, по-сибирски приготовленных пельменей, различных сортов пирожков, до жареных птиц, подлинных пожарских котлет и настоящего беф-строганова. Знатоки утверждали, что качество всех этих блюд, пожалуй, выше, чем в знаменитом ресторане в Париже «Ше Корнилоф», — после войны в нем бражничали советские писатели во главе с Константином Симоновым, и даже похожий на «чеховского героя» советский идеолог М. А. Суслов.

Но лично Седых и я встретились только почти полвека позднее в Нью-Йорке, где редактор Нового Русского Слова и я вспоминали за вкуснейшим французским обедом «праматерь Европу»...

Я отмечаю факт, что в очерках Седых всегда упоминаются те яства, которые вошли в круг его впечатлений путешественника. Внимание к ним правильно, поскольку «меню»

тоже характеризует страны и их население, и хорошо передает новейшим поколениям свидетельства о кулинарной культуре нашей эры, все более — увы! — стандартизирующейся и постепенно теряющей национальные оттенки и местное своеобразие.

Поистине чудесное описание русской Прибалтики дополнено к переизданию на странице 25 примечанием о жутком убийстве в 1934 г. рижского православного архиепископа Иоанна, латыша по крови, депутата латвийского Сейма и страстного антикоммуниста, — убийство было проведено, по-видимому, садистами и не без участия советской агентуры, но не в подвале собора, где жил владыка, а в уединенном летнем церковном доме под Ригой.

Тут уместно подчеркнуть, что очерки Седых запоминаются не только как красочные «панорамы» описываемых стран, но и как свидетельские показания об истории того или другого кусочка нашей планеты.

Вторая книга — «Дорога через океан», написана во время Второй мировой войны, в феврале 1942 г. Надо сказать, что для меня все содержание этого путешествия кажется, без преувеличения, захватывающим и местами даже сказочным: чреда экзотических мест (Казабланка, Ямайка, Гавана), необычайность обстановки и исключительность цели путешествия: переселение в Новый Свет. На Кубе еще никаких Фиделей Кастро, почти танцевально-маскарадная обстановка тропического климата, когда город оживает с закатом солнца, и все крепнувшее у переселенцев чувство освобождения от тени Гитлера. Что меня поразило в описаниях Седых — это устойчивость и человечность бытовых форм того времени. Контролирующие чиновники способны на любезные уступки перевозимым пассажирам. Забавно описание русско-украинско-белорусского клуба в Гаване, где «бросились в глаза портреты Шевченко, Пушкина и... Сталина». Вновь приобретенный друг «совершенно обезумел от контакта с русскими, мечтал вслух о немедленном походе на Берлин и требовал создания мирового русского правительства с обязательным участием в нем президента Рузвельта и Черчилля». Да и сам португальский пароход «Серпа-Пинто» — это «маленький плавучий городок с тысячным населением». Здесь и преждевременное рождение девочки («из-за боковой качки»), невольно ставшей поэтому «португалкой», а не американкой, как надеялись

родители. И чья-то смерть. И рыдание тех, у кого власти отобрали бриллианты, которые предназначались к нелегальному ввозу в США. Седых сумел многое заметить и хорошо передал читателям те волнения переселенцев, которые кончаются счастливым прибытием в Нью-Йорк, в Новый Свет.

Меня позабавило, что следующий очерк «Лето в Италии» в 1954 г. опять совпадает с моим пребыванием там, как и в Прибалтике. Хотя путешествие Седых охватило много больше пунктов страны, чем мои скромные передвижения, мне полностью понятно общее настроение Италии, залечивавшей тогда военные раны, наслаждавшейся мирным бытием, едой и вином и еще не знавшей «Красных бригад» и экономических тупиков наших дней. Могу признаться, что я пленен точностью, глубиной и необычайной красочностью текста, и недаром автор цитирует ряд своих предшественников от Шекспира и Шелли до Дягилева и систематического описателя страны Гаспера Валетта с его известной книгой «Отражения Рима». Трудно сказать, что наиболее удалось Седых: Венеция, «вечный Рим», тосканские пейзажи или Сицилия, а, может быть, огнедышащая Этна или Верона. Нельзя не разделить его вывода в этом увлекательном очерке об Италии: «...вспоминая посещение Падуи, я думал, что подлинное чудо святого Антония заключается не в муле, преклонившем колено перед Святыми Дарами, и не в рыбах, слушавших проповеди в Римини, высовывая головы из воды и с раскрытыми ртами, а в той глубокой народной вере, которую вызывает святой Антоний. Вера, которая двигает горами, которая заставила 700 лет назад воздвигнуть бедному францисканскому монаху великолепный мавзолей из мрамора и порфира, и которая приводит паломников со всех концов света к «томба бенедетта» в Падуе. Эта глубокая вера, не знающая вопросов и сомнений, — это и есть подлинное чудо святого Антония».

Такова Италия в изображении Андрея Седых: знойная, добродушно хитроватая, пленительная и стариной, и непосредственностью чувств, склонная к чревоугодию и к греховной красоте, но и к стоическому воздержанию и подчас к вынужденной убогости жизни. Седых решительно опровергает нелепую легенду о «лености итальянцев», ссылаясь и на крестьян, и на каменщиков, и на другие группы итальянских рабочих... «Кто хорошо видел Италию, тот никогда не будет совсем несчастным». Седых всем своим текстом много раз оправды-

вает эту мысль Гете.

Четвертый и последний очерк «Под небом Испании» относится к 1964 г. «Это впечатления человека, впервые попавшего в Испанию и сразу влюбившегося в нее». Определение Седых весьма точно: его Испания лирична, картинна и убедительна. Но определение это следует дополнить тем, что очерк полон также исторического материала, поданного с замечательной элегантностью и проглатываемого читателями с жадностью, так же, как и поразительное описание с натуры «боя быков», вызывающее отталкивание от этого вида «национального развлечения».

Я не хочу лишить читателей непосредственности впечатлений при чтении книги. Но должен подчеркнуть большую удачу главы «Защитники Альказара» — героический эпизод гражданской войны. Весьма интересны страницы об испанском искусстве и об отдельных эпизодах испанской истории. И хорошо «обыграны» цитаты из Пушкина, который Испанию чувствовал романтически. Я хотел бы обратить внимание читателей на удивительное разнообразие эпитетов при описаниях явлений природы: никаких повторений.

Читатель с сожалением и с благодарностью расстается с этой талантливой книгой, созданной действительно мастером русской прозы.

Многая лета Андрею Седых в год его восьмидесятилетия!

Кембридж, Великобритания.

ЛЕОНИД РЖЕВСКИЙ

ПРОДЛЕНИЕ МАСТЕРСТВА

(О книге Андрея Седых «Крымские рассказы)

ПРОЧИТАВ несколько лет тому назад два-три из крымских рассказов А. Седых, рассеянных в то время по разным сборникам, я будто схлопотал подарок: думал, что знаю все замечательное на русском языке в этом жанре, а тут вдруг — на тебе! новое...

Собранные вместе, в одну книгу, эти рассказы укореняют мое впечатление. Говоря о «жанре», я подразумеваю повествовательно-мемуарную прозу типа знаменитой толстовской трилогии, то есть относящуюся к «первым шагам по жизни» авторов. Кажется, именно русская литература особенно богата удачами в этой части: от С. Аксакова и Льва Толстого до писателей конца 19-го и начала нашего века — Горького, Гарина-Михайловского, А. Белого («Котик Летаев»), А. Н. Толстого («Детство Никиты») и других. Магическая обращенность к раннему, всегда яркому в памяти прошлому, создавала проникновенные страницы даже и у «не автобиографических» авторов; причем, по моим наблюдениям, чем юнее были вспоминаемые годы, тем живей и проникновеннее это выходило творчески. Так — с «Детством» в трилогиях Льва Толстого и Горького, так с первой частью тетралогии Гарина-Михайловского («Детство Тёмы»); когда пишу это, приходит на память и трилогия Е. Чирикова, первая часть которой, «Юность», много живей остальных...

Назвав эту заметку «Продление мастерства», я, однако, хочу подчеркнуть преемственность не только внешних признаков жанра, но и его поэтики. Большинство помещенных в книге Андрея Седых рассказов, без преувеличения сказать,

блистательны и водружают эту книгу на полку общепризнанных успехов, включая писателей так называемой «южной группы» — И. Бабеля, Паустовского, Ильфа-Петрова, с которыми она отчетливо перекликается.

Мне было чрезвычайно радостно в подтверждение своего суждения прочесть чуть позже оценки, которые давал мастерству Андрея Седых И. Бунин. Вот отзыв его об одной из ранних книг этого автора «Люди за бортом»: «Так отлично написана... она, так легко, свободно, разнообразно, без единого фальшивого слова, с живыми лицами, с присущим каждому из них языком. Тут уже явно сказались особенности Андрея Седых: его юмор, живость, уменье схватывать на лету все, что попадает в поле его наблюдений».

И по поводу сборника «Звездочеты с Босфора», в предисловии: «...Какая художественная памятливость на давно, давно пережитое! И какая богатая лингвистика!» Среди особенно понравившегося ему называет Бунин: «...Крымские, черноморские рассказы — «Бартыжники», «Хайтарма», «Гидра», «Чебуреки»... Я хорошо знаю Крым, Черное море, не мало плавал даже и на грузовиках вроде «Гидры» — то же могу сказать об искусстве Андрея Седых и в этом случае; и цирк ему удался не хуже Куприна, даже лучше, по-моему»...

Юмор, отмеченный Буниным в качестве одной из ведущих особенностей прозы Андрея Седых, в «Крымских рассказах» щедр и синкретичен: это юмор сюжетной ситуации, юмор портрета, речевой характеристики в диалогах и репликах персонажей («лингвистики» — по Бунину), наконец, — юмор самой тональности, в которой автор ведет свой рассказ. «Вся беда началась с момента, когда за кровный медный пятак я купил на благотворительном базаре в Клубе Приказчиков лотерейный билет»... — рассказывается о двенадцатилетнем мальчике, выигравшем на этот билет корову. Вот он приводит ее домой, к матери: «...в этот момент мать представилась мне воплощением Сары Бернар в греческой трагедии. На лице ее удивление сменилось растерянностью, потом гневом.

— Что это? — осторожно спросила мать, словно перед ней была не молочная корова, а бык с кровавой севильской арены, готовый забодать на смерть ее любимого сына.

— Корова, — кротко ответил я. — За пять копеек».

Смывшиеся с гимназических уроков мальчишки, забрав-

шись в горы, встречаются там с Сенькой Бараданчиком, бежавшим из городской тюрьмы. Подкрепившись завтраком, Сенька отпускает их с миром:

«— Катитесь под горку, на легком катере. И, значит, держите язык за зубами. А то, накажи меня Бог, я вам головы поотворачиваю. Чтобы ни одна душа в мире не знала. Поняли?

— Поняли.

— Побожитесь!

— Чтоб мы сдохли, Сеня.

— Ну, ладно... Тихий ход вперед! Пишите, коллеги...»

С манерой авторов южной школы сближает «Крымские рассказы» и поисковый, то есть ищущий зримости, словоотбор, красочная метафоричность языка: «Арбузы дозревали на раскаленной, потрескавшейся земле, и от них шел пряный, сладкий дух. ... Выбирали арбузы долго... щелкали по корке, прислушиваясь к звуку, словно настраивали скрипку, и, наконец, легко стукали арбузом о рельсу или о камень. Раздавался хруст, кавун разваливался на рыхлые, кроваво-сочные куски...»

И — пластическая живопись пейзажа: — «Луна встала над морем большая, красная, какая-то театральная. Такую луну позже я видел только под тропиками. Но постепенно начала она уменьшаться и менять цвет, из медной превратилась в желто-золотистую, потом поднялась еще выше, и все вокруг стало белым, каким-то призрачным, а по воде, от луны до самого берега, протянулся дрожащий серебряный мост. Еще громче застрекотали цикады. Сплюшка в лесу начала выводить свое монотонное:

— Сплю... Сплю...

А какая-то другая ночная птица дразнила ее вопросом:

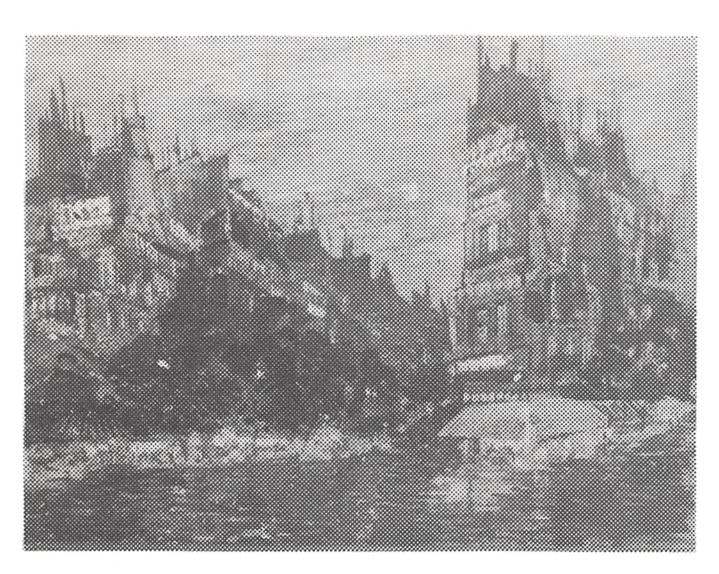
— Ну, и что же?.. Ну, и что же?..»

«Крымские рассказы» — подарок нашей зарубежной прозе.

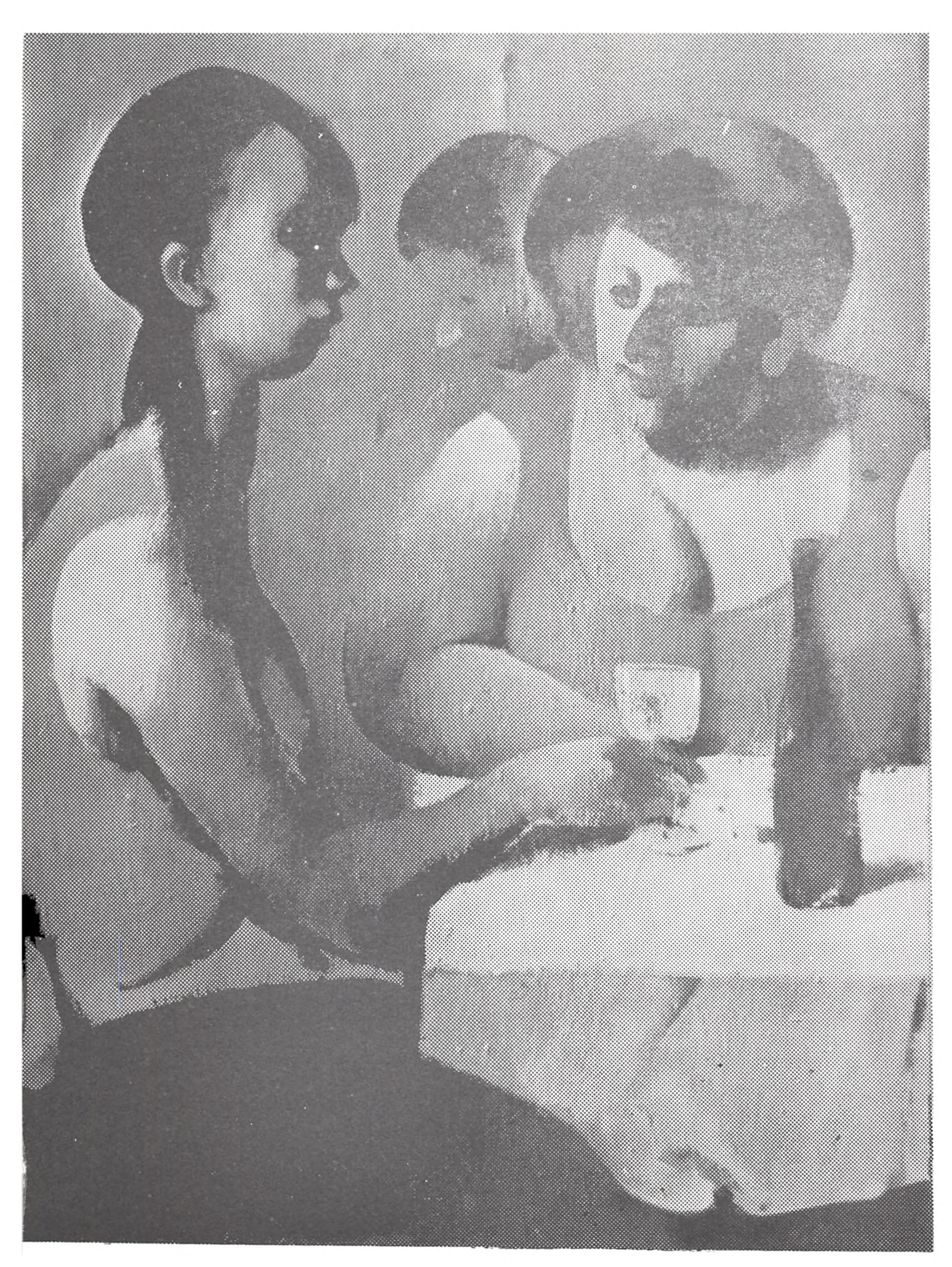
Из коллекции картин Андрея Седых.



Мане Кац — жених и невеста.



Константин Коровин — Париж ночью.



Сергей Голлербах — «Встреча».

У президента Форда.



На приеме в Государственном Департаменте. Государственный секретарь Хэйг (крайний справа) беседует с журналистами.

Встреча с Нелсоном Рокфеллером, кандидатом на пост президента.



АЛЬМАНАХ

ПРОЗА
ПОЭЗИЯ
ВОСПОМИНАНИЯ
«КНИЖНЫЙ УГОЛ»

«...у Андрея Седых острый, зоркий глаз. Он пишет о том, что видел и знает».

А. КУПРИН

ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ

БУЛЫЖНИК — ОРУЖИЕ ПРОЛЕТАРИАТА

(Отрывок из романа «Бумажный пейзаж»).

ФЕЛЯЕВ смотрит на регион Карибского моря. Чернильные стрелы, исходящие из сердца человечества Столицы Счастья, пересекают водные глади, шероховатости горных пустынь, зеленый войлок джунглей.

Глядя на меркаторову карту мира, Феляев мыслит регионами — жизнь и не тому научит. Гигантская карта, висящая за письменным столом, то есть непосредственно за плечами замзава Феляева, когда он занимает свое место, — любимейшее убранство просторного кабинета, детище виртуоза идеологической борьбы. Предшественник до таких высот не дотягивал. Альфред Потапович лично распорядился повесить карту, лично наблюдал подвешивание, более того, лично наносил на карту стрелы идеологических десантов. Помимо прочих, Феляев обладал и графическими способностями. Вся распластанная шкура планеты была местом их приложения. Вот в Атлантическом океане полукругом над безднами обозначилось наименование Пылающего Континента — ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА. Под буквами дуга, а от дуги в разные страны идут стрелы, над каждой же стрелой мелкими цифрами дата «акции», то есть засылки очередной культурной литературной артистической художественной научной делегации. Такая же дуга, конечно, и над Австралией висит, и над Африкой, и над прочим. Феляев обожает эти стрелы, иногда даже мысленно собирает их в пучки и как бы потрясает ими, уподобляясь советскому Зевсу. Удивительное получается дело, товарищи: вот живет геологический мир себе, живет, ничего

не подозревая, а Феляев тем временем зондирует почву, входит с предложением, подготавливает решение, утверждает кандидатуры, отправляет наконец делегацию, затем по возвращении проверяет отчеты, и на карте беспечного мира появляется новая Феляевская стрела, еще одна странишка, т. е. кусок земной коры, нанизана на шампур.

Просторный кабинет Альфреда Потаповича с милыми сердцу видами на исторические постройки столицы строг, деловит и не-без-вкусен. Интерьер, комбинация деревянных панелей, мебели и закраски, продуман известным дизайнером. Когда-то в начале идеологической деятельности Феляева этот дизайнер был, можно сказать, по другую сторону баррикад. Активный был деятель московских подвалов, звезда всей этой гнили. Некоторые товарищи уже отказывались с ним работать и предлагали передать дело по соседству, а Феляев разглядел все же в дизайнере здоровое зернышко и не оставлял усилий. Жизнь показала, кто прав. Удалось прорастить народное зернышко и сделать духовного горбуна тем, кто он сейчас есть, а именно дизайнером. Как видим, достиг даже Феляевский подопечный серьезных высот: не кому-нибудь из верных стариков, а вот именно ему было поручено разработать дизайн новой идеологической твердыни. И ничего не скажешь — получилось. Ничего не скажешь, уловил пострел дух времени, уловил что-то неуловимое: под пером его возникло нечто без лица и без задницы, такая геометрия, от которой временами выть хочется, но не повоешь и даже не возразишь, потому что вроде так получается — возразишь против этих пропорций и значит возразишь чуть ли не против всех устоев, против основ, против всех трех бородатых слонов, на которых держится современность. В чем тут секрет, никто не знает, не понимает, не говорит. Проект даже не обсуждался, а сразу был выставлен на Государыню. Вот такие вышли пироги: жил вредоносный в мире хиппи, а стал дизайнер и лауреат. Правда, к медальке своей относится еще как бы со смешком, носит ее во внутреннем кармане и нацепляет только, когда надо протыриться в кабак, но, однако же, слова-не-воробьи были сказаны под голубизной торжественного купола, слова, продуманные совместно, вылетели из грешного, красиво очерченного рта, и их уже не поймаешь.

— Высшее счастье для художника, когда его стремления совпадают со стремлениями его правительства... — вот такие

были сказаны и телевизором разнесены, и печатью, «острейшим оружием», размножены слова.

Феляев помещается в кресло с чувством полного удовлетворения, ибо сознает, что именно помещение его в этот современный седалищный предмет как раз и завершает идеологический дизайн, ибо тут и происходит как раз то, что однажды под хорошей баночкой определил друг-дизайнер «законом марксистского хеппенинга»: без Феляевской задницы не завершается дизайн, ну а без дизайна этого в наше время и Феляевской заднице делать нечего.

Итак, упрочившись в своем кресле, Альфред Потапович замыкает энергетическую цепь огромного идеологического аппарата Фрунзенского райкома столицы. Теперь аппарат, имея над собой такой символ стабильности, как упомянутая уже индивидуальность, может функционировать.

Кресло, конечно, крутящееся и с отклоняющейся спинкой, из независимой Финляндии. В последний раз бросив лукавый взглядик на вверенную нашей партии планету, Альфред Потапович оставляет ее за спиной и оборачивается лицом к двери.

Над дверью во всю имперскую красу в богатейшей раме развернулась наша красная классика-шедевр, картина «Булыжник — оружие пролетариата», на которой (сообщаем для малограмотных) изображен мускулистый — кто? правильно! — конечно же пролетарий, выкорчевывающий из мостовой здоровенную — что? правильно! — конечно же булыгу для атаки на самодержавие-капитализм.

Картина эта, если честно говорить, вызывала у А. П. Феляева смешанные чувства. Будь его воля, может быть и убрал бы со стены — взгляд у работяги нехороший, анархией попахивает — однако, друг-дизайнер почему-то упорно настаивал на сохранении картины, утверждал, понимаете ли, что без нее дизайн Феляевского кабинета, играющий оказывается важную скрипку в эстетике «зрелого социализма», будет неполным, ущербным.

В общем, Альфред Потапович каждое утро начинал с легкой неприязни к своей картине, приходилось каждое утро подавлять негативное чувство, убеждать себя, что дело относится к далекой партийной истории — вот, дескать, подумать только, с чего начинали, — убеждать себя, что в энергических складках пролетарского лица можно найти определенное сходство с нынешними вождями партии и

даже с самим собой, и что даже вот на эту малоприятную булыгу можно смотреть символически как на современное оружие мира во всем мире.

Засим начинался прием посетителей. Секретарша Аделаида... мда... явно засидевшийся кадр... увы... не заменишь комсомолочкой... огромный опыт работы в идеологической сфере... — вносила списки, тихим никотинно-ментольным голосом напоминала, кто за чем к районному идеологическому вождю явился.

Большинство просителей были из мира искусства, что естественно, а из них большинство просило чего-нибудь по части загранпоездочек. Вот первый у нас сегодня в списочке драматург Жестянко, большой разъедай, между нами говоря, вечно нос кверху, нашелся такой Шекспир, в 68-м году скверные петиции подписывал, а сейчас, видите ли, в Америку просится, там какая-то шпана его пьесу поставила, ну, далеко не уедешь.

— А это еще что такое?

Вторым в списке значится Игорь Иванович Велосипедов, инженер, а это еще что такое?

— А вот на это, Альфред Потапович, хочу обратить ваше особое внимание, — заскрежетала Аделаида. — Этот у нас идет по части нашей майской акции. Надеюсь, помните, на последнем бюро поднимался вопрос.

— Помню, конечно, чего же не помнить, — Феляев взглядом показал старой ведьме, что с ней в разведку он бы не пошел, пусть одна, сволочь ехидная, в разведку отправляется, небось уже настучала, что на бюро сидел спохмелья. Не знает только, партийная кляча, что как раз с третьим секретарем, который в тот день вел бюро, они и пили накануне, в финской бане спортобщества «Динамо».

— Ладно, давайте, зовите Жестянко, — скомандовал он. — А с остальными по ходу дела разберемся.

Любое слово партии для Аделаиды Евлампиевны — закон, и если вот этот несимпатичный ей, прямо скажем, даже отвратительный заведующий отделом прикажет ей давать показания на симпатичного голубоглазого инструктора Владислава Фесенкова, она будет это делать, ну, а если кто-нибудь из секретарей райкома, не говоря уже о товарищах из горкома или еще повыше, прикажут ну хоть застрелить Феляева, тут же, не задумываясь, шмальнет с порога. Пока что с кислой миной пошла звать драматурга Жестянко.

Драматург вошел, как всегда, с задранным носом. Феляев молча смотрел на него из глубины кабинета. Драматург был немолод, но строен, многое в его облике попахивало ненавистным. Очки троцкистские, ходит как-то вызывающе, даже плешь как-то расположена, вроде бы это и не плешь, а такой, понимаешь, дизайн.

Феляев молчит, не встает, руки не протягивает, кресла не предлагает.

— Здравствуйте, Альфред Потапович, — говорит Жестянко и, в общем-то, какой-то там подлой интонацией напоминает, что они все-таки не первый год знакомы и в некоторые, к счастью, уже отдаленные времена, искал Феляев со стороны молодого яркого таланта сочувствия и даже однажды на банкете в братской республике сел рядом и завел разговор на философские темы, намекая, что и им, выпускникам ВЭПЭША, экзистенциалистская теория не вчуже.

— Здравствуйте, — ответил Феляев на приветствие, но стула опять же не предложил. Классовому врагу стул предлагать? Ну уж, знаете ли, это, как говорится, если партия прикажет только.

Жестянко усмехнулся, прошел через кабинет... пиджак расстегнут и левая рука в кармане штанов... никогда вероятно не научатся эти люди партийной этике... уселся без приглашения в кресло, посмотрел через стол прямо в глаза Феляеву... глаза зава непроизвольно сузились... когда-то в юные года вот сужали глазки и нижнюю губу, скривив, выпячивали, в те юные года, когда продовольственные ларьки грабили в Останкино, когда надо было пугануть какого-нибудь фраера. Сейчас уж вот губу-то так не скривишь, хотя и хочется, но и глаза-то, сузившись, дают достаточное классовое объяснение, понять всякий может, и Жестянко улыбкой дает знать, что и он понимает, но, странное дело, вроде бы и не боится.

Чуть-чуть перегнувшись через стол, драматург вынул из прибора карандаш, следующим движением рванул из календаря страничку. Феляев даже изумиться не успел подобной наглости, как перед ним лежала записка с вопросом: — «Что вам привезти из Америки?» Жестянко смотрел на Феляева. Феляев смотрел на Жестянко. Записка лежала на столе. Фуй с ним, думал Жестянко, выгонит, уйду. Хм, думал Феляев, хм, хм, хм... Он перевернул бумажку, чиркнул на ней и протянул через стол. «Приемник фирмы

«Браун», модель F-106», прочел драматург. Прочтя, кивнул — «лады».

— В общем, вы должны учесть, товарищ Жестянко, — как бы продолжая беседу заговорил Феляев, как будто бы предшествующее молчание просто-напросто было результатом дефекта соответствующей аппаратуры, — должны учесть, Илья Филиппович, что ситуация сейчас в мире напряженная, а в США особенно зашевелились реакционные круги.

— Понятно, — сказал Жестянко.

— Так что, товарищ Жестянко, думаю, что внутренние наши дискуссии не будут предметом, скажем, нездорового ажио...

— Будьте спокойны, Альфред Потапович, — сказал Ж. и с совершенной наглостью ему подмигнул.

Пришлось подмигивать в ответ: повязались.

Феляев звонком вызвал Аделаиду.

— Пожалуйста, объясните товарищу, как выйти на Черченко, а я тому отзвоню.

Аделаида, будто жабу проглотила, смотрела на Феляева непонимающим холодным взглядом.

— Поняли, Аделаида Евлампиевна, дошло? — нежнейшим тоном поинтересовался Феляев. С этого дня Жестянко становился своим и можно было его не стесняться. — Товарищ Жестянко возможно будет направлен на фестиваль в Соединенные Штаты Америки, и партия — тут он нажал — уверена, что товарищ Жестянко будет твердо отстаивать наши позиции. А пока дайте-ка мне документацию по следующему товарищу.

Он скривил рот вслед уходящей Аделаиде, подмигнул Жестянко — такая, мол, падла — и протянул ему руку — пока, до скорого.

Уходя, драматург слегка споткнулся — бросился в глаза «Булыжник — оружие пролетариата». «Какое сходство, подумал, какое, гребенать, удивительнейшее сходство!»

В приемной что-то еще мелькнуло знакомое, какой-то бледный лик со взором горящим, тощий юноша из классической литературы поднимался из кресла, как кролик под стальным партийным взглядом Аделаиды.

«Что же с этим Велосипедовым?» — мучительно пытался вспомнить Феляев. Почему вдруг инженер и к нему вызван? Вызван? Да, вызван, не сам пришел. Уже хорошо, — уже есть зацепка — вызван. Раз вызван, значит какое-то наше

дело. Значит, что-то нам нужно (партии), а не им (не населению). Аделаида, старая троянская лошадь, принесла папочку с бумагами и слиняла, хоть бы намекнула, сволочь, подтолкнула мысль к поиску, нет, падла, мстит... нет, в самом деле так нельзя, держать под боком «пятую колонну культа личности», время идет, на дворе «зрелый социализм», в отделе нужны люди с более широким кругозором, таких девчат сейчас немало в туристическом бюро «Спутник».

Он открыл папочку и прочел перво-наперво справку, подготовленную районным отделом ГЭБЭ. Справка ничего не прояснила. Человечек был без особых примет, даже репрессированных в близкой родне никого, только вот дядя в Сыктывкаре пятак отбухал с 1948 по 1953 по 58—10 статье, т. е. за анекдотики. Ага, вот еще одна любопытная деталь: получает письма из Болгарии...

Тут что-то зашевелилось в башке Феляева — близко, близко... нет, мимо проскочило...

Содержание писем не вызывает сомнений.

Фуево, подумал Ф., очень фуево...

... В последнее время встречается с группой молодых людей сомнительного внешнего вида, подверженных влиянию Запада.

«Совсем фуево», сморщился Феляев, ничего не помню, ничего не понятно. В папке было еще несколько листков, но не густо, надежды мало.

— Разрешите? — послышался тут нервный голос. Под картиной стоял тощий в модном, с торчащими плечами и широкими брюками, синем костюме. Светились серые плоские глаза. Голос подрагивал. Трусит. Это все-таки хорошо.

Феляев сначала головы не поднял, ну, это как полагается. Потом поднял и пригласил в кресло: — Прошу, товарищ... — посмотрел в бумагу, ну, тоже в соответствии с традицией, — товарищ Велосипедов.

Молодой человек, издали казавшийся юношей, а вблизи оказавшийся как бы и не совсем уже молодым человеком, сел в кресло и положил ладони на колени, соответственно — левую на левое, правую на правое. Это тоже понравилось Феляеву. Понимает, куда пришел.

— Ну-с, товарищ Велосипедов, вы наверное догадываетесь, по какому поводу мы вас вызвали? — и напрягся, чтобы не пропустить ответ, потому что случалось и такое.

— Должно быть по поводу моего письма товарищу Брежневу, — сказал Велосипедов, глядя прямо перед собой и только лишь изредка поглядывая на могущественного товарища с большой, плохо оформленной головой.

— Товарищу Брежневу многие пишут, — с досадой сказал Феляев.

— Воображаете, какие горы бумаги ежедневно получают в ЦК?

— Воображаю, — улыбнулся Велосипедов. — Как ни странно, очень живо это себе представляю.

Феляев испытующе на него посмотрел, в общем-то ничего подозрительного не увидел, но и ясности не появилось ни на грош: для чего вызван человече? В унынии он шевельнул бумагу в папочке, приоткрыл письмо Генсеку... «Бой-в-Крыму-все-в-дыму»... просит человек садово-огородный участок, а мы-то, идеологи, тут при чем?

— Вы, товарищ Велосипедов, когда пишете в такой адрес, отдаете себе отчет?...

— Там у меня со сказуемыми... — вдруг, покраснев до корней золотистых волос, сказал автор письма.

— Понимаете, кому пишете? — уточнил свой вопрос Феляев.

— Хозяину страны, — сказал Велосипедов.

Феляев улыбнулся.

— Хозяин страны — народ, товарищ Велосипедов. Мы с вами. Леонид Ильич — выразитель воли народа.

— Вот именно! — воскликнул Велосипедов. — Превосходно сказано, Альфред Потапович! Выразитель! Вот именно по этому адресу!

Неплохой парень, подумал Феляев, но на кой ляд он здесь? Он еще раз помусолил палец и вдруг — открылось! Все сразу обозначилось, все стало ясно. Перед ним лежала страница размноженного на ротаторе и подготовленного в печать письма видных представителей советской общественности, осуждающих вражескую деятельность Солженицына и Сахарова. Да-да, именно ведущий заседание бюро третий секретарь Гермонайко извлек из своих недр вот эту голубую папочку пластмассовую с корабликом и перекинул Феляеву — ...Переслали из ЦК, поинтересуйся, Потапыч, там считают, что можно этого инженера пристегнуть к деятелям... У Феляева голова слегка подкручивалась. Он передал папку Аделаиде и распорядился вызвать. Вот-вот, теперь все

сошлось, теперь можно действовать.

Велосипедов вдруг увидел, как ужасающий хмурый бюрократище меняется на глазах: плечи как-то распрямляются, зеркало души как-то начинает проявлять признаки жизни, через стол доносится запашок винегрета. Вспомнилось классическое: «...он к товарищу милел людскою лаской...»

— Ну, а вообще-то... — нырок в бумаги... — Игорь Иванович, каково настроение?

— Вообще-то настроение превосходное, — тут же откликнулся на призыв Велосипедов. — Дела у нас идут хорошо, сердце радуется, особенно на международной арене... — вдруг почему-то сбился. Уж не сказуемое ли опять потерял.

— Это хорошо, — Феляев с папочкой в руках обошел вокруг стола, сел в кресло напротив Велосипедова, похлопал по коленке. — Это очень, очень хорошо... — опять глянул в папочку... — вот и имя-отчество у вас хорошее, Игорь Иванович, без зацепки. С этим вопросом у тебя ажур? — зоркий взгляд правым глазом.

— С каким вопросом, Альфред Потапович? — охотно, с готовностью немедленно понять выдвинул голову вперед Велосипедов.

— Не понимаешь? Ну, ничего, поймешь позже... — Феляев извлек «письмо деятелей» и, отведя его несколько в сторону, замилел людской лаской и на «ты» в сторону визитера. — Вот, понимаешь, Игорь Иванович, дело есть у партии к тебе.

— У партии ко мне? — Велосипедов в благоговейном возбуждении передернул даже плечами. — Ко мне лично?

— Вот именно, — улыбнулся мудрый старший товарищ. — Вот прочти, товарищ. Вот прочти-ка вслух, если хочешь.

Велосипедов читал:

«Советская общественность уже на протяжении ряда лет с неодобрением и беспокойством следила за безответственными заявлениями Солженицына и Сахарова, публикуемыми в реакционной прессе Запада. В последнее же время эти «правдоискатели», как говорится, закусили удила. Видимо непомерное честолюбие и ненависть к социалистической отчизне рабочих и крестьян ослепили их. Так называемый писатель Солженицын пытается свалить вину за свое осуждение на весь советский народ, на дорогое каждому советскому человеку учение марксизма-ленинизма. А между тем не мешало

бы ему рассказать людям о своем «власовском» прошлом.

Физик Сахаров, отошедший от научной деятельности вознамерился спасти человечество от всех бед любыми средствами, а главным образом грубой клеветой на наш народ, нашу партию, наши идеалы.

Мы, представители советской общественности, гневно осуждаем грязную антипатриотическую «деятельность» двух отщепенцев и заявляем: руки прочь от мечты человечества, нашей отчизны СССР».

Прочтя все это с правильным соблюдением всех интонационных пауз и подъемов, Велосипедов опустил бумагу.

— Великолепно, — сказал он. — Просто, великолепно и волнующе.

— А теперь, обратите внимание на подписи, — сказал Феляев. Велосипедов обратил и увидел подписи выдающихся умов государства: узбекского писателя Райтманова, белорусского философа Теленкина, московских романистов Бочкина и Чайкина-Фейгина... выдающихся ног государства балерины Иммортельченко и бегуна Гонцова... выдающихся рук государства скрипача Блюхера и токаря — депутата Пшонцо... выдающихся лиц государства — киноактрисы Жанны Бурдюк и ткачихи Гурьекашиной...

— Ну как? — не без гордости спросил Феляев.

— Впечатляет, — прошептал Велосипедов.

— Есть желание присоединиться?

— Собственно говоря, — Велосипедов положил руку на левую сторону груди. — Собственно говоря уже, мысленно с ними.

— Ну, а физически? — спросил Феляев — Вот перышком?

Он протянул авторучку Monblan с золотым пером, недавно подаренную как раз одним из подписантов писателем Чайкиным — Фейгиным после возвращения из Бельгии.

— То есть, чтобы я среди таких имен? — опешил Велосипедов.

— Вот именно, — ласково покивал Феляев и процитировал с почти абсолютной точностью, — «и академик, и герой, и мореплаватель, и пахарь»... Монополитное единство.

Велосипедов подписал обращение и полюбовался «монбланом». Феляев даже умилился в этот момент: вот все-таки люди у нас какие! Какие, понимаш, сознательные люди. В Казани, в Свердловске который год масла нет, а никто не ворчит, не подзуживает. Нет, господа, не на тех делаете

ставку!

— Спасибо тебе от лица партии, Игорь Иванович, — сказал он и протянул на прощание руку. — Следи за газетами, друг, скоро прославишься.

— А как же, Альфред Потапович, по части моих? — спросил Велосипедов, кивая в сторону папочки, откуда было извлечено обращение деятелей и где он заметил свое собственное письмо «без сказуемых». — Вот по поводу моего? — он слегка покраснел. — Весьма интересно, принято ли было Леонидом Ильичом какое-либо? — он покраснел еще больше, чувствуя, как что-то утекает из его сбивчивой речи, еще не понимая, что катастрофически пропадают на этот раз «подлежащие». — Был бы очень рад услышать ваше...

— А что у вас там? — Феляев скособочил рот в любимую позицию. — Садовой участок? Не проблема. Отыскав слово «участок», он размашисто очертил его красным карандашом, затем, заметив некоторое движение визитера, красноречиво говорящее, что не только участок, заглянул в бумагу еще раз. — Ну, что у вас там еще? Машина? Не проблема! — еще одна красная полоса и еще одно выразительное движение свежеиспеченного «представителя общественности». — Ага, кажется и еще чего-то, вот как потребности у наших людей постоянно растут, закон социализма, понимаш. В Болгарию хочешь, Игорь Иванович? Это уж совсем не проблема. — и на глазах у изумленного Велосипедова поставил еще одну галку и, заметив ошеломление, пояснил: — Так вот и решаем вопросы. Держись за партию, Игорь Иваныч, все преодолеем.

Потрясенный Велосипедов все же понял, что аудиенция окончена и встал. Печать изумленного мертвого счастья как бы залепила ему все мышцы лица. Пожимая на прощание руку Феляева, он вдруг ярчайше представил свой садово-огородный участок на крутом берегу канала «Москва», он подъезжает к нему в болгарской дубленке, а поверх дубленки четырехцилиндровые с итальянскими поршнями «Жигули», вишни цветут. Так с этим лицом и пошел к выходу из кабинета — вот ленинский стиль решения проблем трудящихся, а говорят еще злые языки, что в Стране Советов процветает бюрократия, бумажная волокита — нет!

И вдруг перед самым выходом застыл, увидел пролетарскую картину — какое сходство, какое умопомрачительное сходство реалистического искусства, дорогие товарищи! В про-

стоте душевной он даже оглянулся на благодетеля. Тот покивал ему с подобием патрональной улыбки, но и от этого сходство не уменьшилось.

Вдруг распахнулась дверь, и в кабинет влетел средних лет молодой человек, влачащий на сгибе руки загранплащ и заграншарф, в другой на отлете пушистенький флупихэт, летя со скабрезнейшей улыбочкой, полоса коньячного запаха, споткнувшись, Велосипедову — мы-где-то-встречались-пока! — и далее к могущественному лицу с распростертыми и с растленным московским: — Голуба!

Велосипедов вышел из кабинета в предбанник, где поклонился Аделаиде. Та проводила его ласково-предостерегающим взглядом до выхода в коридор. И только в коридоре наш герой вдруг подернулся испариной какого-то нелепого в партийном учреждении дискомфорта: а деньги-то где взять? Участок-то садово-то-огородний первый взнос 800 рэ, жигули-то 6000 на бочку, билет-то в Болгарию 500 рублей, да 200 еще на обмен валюты, а зарплата-то 150, не воровать же, и у партии не попросишь, неправильно поймут. Не надо было писать это письмо, теперь если от всего откажусь, получится полнейшее неудобство, полный вперед по позору, еще чего гляди и до Леонида Ильича дойдет, вообще... отбой...

Он вышел из райкома. Взлетели две птицы. Мимо по ветру волочилась огромная смятая бумага. Резко отразилось солнце на двигающейся форточке восьмого этажа. На душе теплело: главное — большое спасибо!

Между тем в кабинете разыгрывалась сцена дружеской конспирации. Член бюро райкома Феляев и любимый его «дизайнер» задумывали смыться, ибо намечалась, по словам дизайнера, сногсшибательная кайфуха. Казалось бы, риск, казалось бы, остерегись, большая ответственность на плечах, однако Феляев от многолетнего опыта по искусству, а особенно под влиянием своего детища, новоиспеченного партийного дизайнера, и сам слегка забогемился, да и вообще по своей днепропетровской натуре всегда жаден был до алкогольных и половых безобразий.

Понимаешь, девчонки, легкомысленные, живые, хулиганочки, я с одной вчера в самолете познакомился, летя из Будапешта, голуба, вот тебе тут и маленький сувенир из гуляш-коммунизма, часы «СЕЙКО», и давай друг-голуба оформляться начнем на фестиваль в Аделаиду, как какой

фестиваль? Да прогрессивных же, гребенать, организаций в борьбе за мирро во всем мирро, а пока что собирайся, пусть тут Аделаида идеологический брым сосет, а на кой шер у тебя триста гавриков в отделе, да еще и целый полк стукачей? — так частил любимый циничный дизайнер, только что оформивший советско-отечественный павильон на выставке пламенных моторов в братской спасенной нашими танками от студенческого разбоя солнечной Венгрии и вот собирающийся — одержимость, убежденность! — в отдаленную, еще не защищенную нашей мощью печальную до поры Австралию, ну как не любить, не уважать, не ценить такого человека?

Хлебнув второпях из плоской фирменной баклаги согретого дизайнеровской ягодицей «мартеля», Феляев надел замутненные очки (сувенир циркового акробата Броско — какая идея: наш советский цирк совершает в слаборазвитых странах Запада бескровную пролетарскую революцию! — не за очки ценим наших акробатов, не за очки!) — и вызвал зловещую Аделаиду, которая, сука, конечно же понимала, что к чему. — ЧП в Союзе Архитекторов, — пояснил Ф., — срочно выезжаем, необходима хирургическая операция, обнаружились связи с Западом, сомнительный обмен идеями на последнем коллоквиуме, все приемы переносим на завтра, вернее на послезавтра». Проклятая старая дева, которой все человеческое чуждо, молча и подозрительно кивнула.

Дизайнер Олег препохабнейше вел себя в «Чайке», хлебал свой коньяк, проливал, совал бутылку шоферу, хохоча, рассказывал о девке, которую «кадранул» в самолете, как у нее «ноги от ушей растут», а штучки торчком и «глазки смышленые», и сразу все налету ловит, все обещает одним взглядом, в общем, Потапыч, погуляем, заторчим, а если даже без подружки будет, так погоняем в два смычка, в два смычка разыграем трио... и дальше — дальше, полный анархизм, нарушение партийной этики, хорошо еще, что шофер — свой человек, фронтовик, разведчик, матрос-железняк-партизан, понимает, как нелегко порой работать с художественной интеллигенцией.

— Да подожди, Олег, в самом деле, экое у тебя, понимаш, кружение ума, понимаш, а ведь в работе-то, в творчестве настоящий глубокий советский художник, на уровне Товстоногова, понимаш...

Как раз стояли у красного светофора, и шофер уважительно кивнул, дал понять хозяину, что волноваться нечего,

он, майор госбезопасности, все диалектические сложности нашего времени прекрасно понимает, золотой — золотой человек, отпущу его сегодня колымить на весь день.

Заехали на Грановского, взяли по пайковым талонам языковой колбасы, шейки, полдюжины банок крабьего мяса, дунайской сельди кило, три бутылки британского джина, итальянского чинзано и мартини, на любой вкус состав, прямо скажем, впечатляющий. Поехали дальше.

Феляев все-таки решил завязать с другом художественный разговор, чтобы у шофера не возникло все же ошибочного предположения о предстоящем разврате.

— Ну, а как там в Венгрии, вообще-то, с дизайном? — осторожный, хотя и вполне профессиональный вопрос.

— Холуево! — захохотал Олег. — Очень холуево! С дизайном, Потапыч, там очень и очень холуево.

Шофер улыбнулсся в зеркало заднего вида.

— Да, до наших мастеров им еще далеко, понимаш, — задумчиво глядя на проплывающие в окне «Чайки» лозунги, проговорил Феляев, — скромничать нечего, большой мы сделали прогресс, глянешь вокруг, каждый кубический сантиметр — поет!

— Из окон корочкой несет поджаристой! — заголосил вдруг дизайнер с какой-то неадэкватной моменту дикостью.

— А вот, Олег, знаш, — торопливо пустился Феляев, чтобы друга от дикости этой отвлечь, — много думал я над твоим дизайном и понял, что ты был прав, а не я. Видишь, друг, партия умеет понимать художника, врут про нас. Вот, помнишь, корил я тебя картинкой, дескать не вписывается, а сейчас понял — был не прав: каждый посетитель застревает перед ней и на меня оглядывается. Значит, ощутимо наследие первых борцов, да, Олег?

Дизайнер вдруг глянул на него сбоку и как-то, понимаш, не по-хорошему, как-то по-старому, как будто и водки с ним не пили и не щекотали друг у друга в финской бане, как-то по-вражески, с насмешкой и презрением, а может быть только мелькнуло, лишь показалось нехорошее.

— Я же тебе говорил, Потапыч, голуба, ты без этой картины — полный ноль, а она без тебя — г.... на палочке. Хепенинг продолжается!

Под сильными порывами ветра на площади Гагарина летала выше машин огромная смятая бумага с неясным текстом. Дорога шла на юго-запад, в соответствующие

братские страны. «Эх, просится здесь гигантская металлическая скульптура — ракета-человек, подумал Феляев. Эх, надо бросить клич среди скульпторов, пусть отразят неповторимые черты НТР советской действительности»...

Они вышли на Ленинском сразу за заставой, все вокруг было родное: ОБУВЬ, ХРУСТАЛЬ, КОММУНИЗМ и виделась уже воплощенная мечта в лучших традициях Калужского мечтателя.

— А чего это, Олег, мы так рано сегодня начинаем? — тихо спросил Феляев. Вдруг опять заговорила днепропетровская «стеснительность».

— Так баба сказала, — объяснил дизайнер. — Полный вперед, говорит, ко мне на полубак. Будет тебе гребля-с-пляской, Потапыч. Хеппенинг продолжается!

... Как только из лифта вышли, тут Феляев и заколебал себя — из-за дверей квартиры доносился стадный рев и резкие режущие звуки авангардистской музыки. Лопнула мечта о тихой «хавирке» с парой сознательных девчат, дверь распахнулась — все было заполнено дымом и вибрирующей массой молодежи. Длинноволосый и грязный советский хиппи тыкал пальцем в вошедшего лидера идеологии:

— Ребята, аврал, булыжник пришел, оружие пролетариата! Запрыгали три девки в хламидах с нашитыми лоскутками.

— Булыжник! Булыжник! Революция продолжается!

«...Все рассказы Андрея Седых написаны ласково, светло и любовно. Они возбуждают «чувства добрые». Диктовала их жалость к людям и теплая любовь к их жизни».

ТЭФФИ

АНДРЕЙ СЕДЫХ

ЗВЕЗДОЧЕТЫ С БОСФОРА

Мы ЖИЛИ в Константинополе уже третий месяц, без денег и без дела, целыми днями слоняясь по городу в поисках добычи. Мы были непростительно молоды и не унывали, — до двадцати лет все, кроме голода, переносится необычайно легко. По вечерам мы сходились в узенькой зловонной улочке, неподалеку от Юксек-Калдерима. Там был греческий ресторан, и всякий раз, когда мы появлялись на пороге, хмурые и голодные, хозяин Коста встречал нас зычным и приветливым окликом:

— Ористи!

Он делал при этом гостеприимный восточный жест, — все его роскошные блюда были приготовлены только для нас и ждали именно таких как мы знатоков и ценителей греческого кулинарного искусства. Когда знатоки и ценители недоверчиво подходили к плите и начинали инспекцию, Коста отступал на шаг назад и скрещивал свои пухлые и волосатые руки на груди. В эти минуты он напоминал Наполеона на поле Аустерлица.

Над жаровней с древесным углем медленно вращался на вертеле шашлык из молодого барашка. На противне, подернутые янтарным соусом, лежали фаршированные перцы и баклажаны. Скумбрия нежилась на блюде, обложенная помидорами, покрытая ломтиками лимона и посыпанная рубленным укропом. Мы благоговейно вдыхали эти запахи, нерешительно составляли и переделывали меню, что-то подсчитывали в уме. Чтобы разжечь наши чревоугоднические инстинкты, Коста внезапно срывал с плиты шампур

с шашлыком и торопливо, больше ни о чем не спрашивая, начинал выкладывать его на тарелку и посыпать луком.

После второй рюмки зеленоватого, мутного дузика мы пьянели. Все становилось легко и понятно. На улице шарманка играла марш венизелистов. Коста приносил чашечки крепкого и сладкого кофе, угощал нас курабьей, а я начинал уверять, что торговля французской «Брачной Газетой» на пароходиках, которые целый день снуют по Босфору, из Галаты в Скутари, — очень приятное и доходное дело, имеющее большое будущее.

Я извлекал из кармана мятые бумажные лиры и медные пиастры, раскладывал по столу мою дневную выручку, но Захарьянц и Яшка Курчавый, прозванный так потому, что у него не было на голове волос, смеялись и говорили, что нужно быть сумасшедшим: сорок раз в день переезжать на пароходиках из Европы в Азию, с одного берега Босфора на другой, только для того, чтобы заработать четыре лиры!

— Швыбзик, говорили они ласковым и поучительным тоном, швыбзик, — ты не уедешь далеко на твоей «Брачной Газете», предназначенной для сладострастных турок. Надо проявить игру ума.

Из игры ума ничего путного не выходило. Проекты были все грандиозные, один лучше другого, но пока что, в ожидании громадных заработков, за обед у Косты приходилось расплачиваться моими скромными лирами газетчика.

Насытившись и наговорившись вдоволь, мы выходили из душного ресторанчика на воздух и медленно шли по лестнице вниз, к морю. Наступала южная ночь, вокруг сновала шумная, говорливая толпа. Звучала музыка, в публичных домах бойко бренчали механические пианино, и женщины в розовых, несвежих комбинезонах высовывались из окон и на всех языках мира зазывали к себе прохожих.

Мы спускались на набережную, у которой были пришвартованы фелюги с собранными, мертвыми парусами. Лодочники лениво возлежали на узеньких матрацах, которыми были покрыты скамьи на корме, поджидая богатых клиентов. Мы не были богатыми клиентами. На мне висело широкое, непромокаемое пальто и был котелок, налезавший на самые уши, — на таких людей лодочники не обращали внимания.

На нашем берегу была уже ночь, но по ту сторону Золотого Рога в небе разливалась нежно-зеленоватая акварель и черной тушью на нем оттенялись купола и минареты мечетей.

И вся эта экзотическая красота казалась не настоящей, а какой-то затейливой, немного слащавой, театральной декорацией.

Мы долго сидели на набережной, поджидая наступления полной темноты. И глядя в небо, на голубые, мерцающие звезды, никто из нас не думал, что очень скоро странная судьба свяжет нас с этими далекими мирами.

* * *

Однажды вечером мои приятели пришли к Косте раньше обычного, волоча за собой треножник фотографа и какую-то продолговатую черную коробку.

Вид у них был торжественный и взволнованный.

— Швыбзик, сказали они, обнажи голову перед этими научными инструментами. Мы живем в век Фламмариона и кометы Галея. Да здравствует солнце, да скроется тьма!

Признаюсь, я сначала решил, что они успели перехватить по дороге рюмку дузика.

Но вскоре стало ясно, что они трезвы, находятся в здравом уме и полной памяти, и что надвигаются большие события. Коробку открыли. Внутри лежала подзорная труба, вероятно проданная каким-то загулявшим моряком в комиссионный магазин. Труба была старая, потертая, видавшая виды.

Приятели раскрыли ее и при помощи куска проволоки и обрывков бечевки стали прилаживать инструмент к треножнику. Когда все было готово, они отступили назад с видом артистов, любующихся своим детищем, а Захарьянц в мистическом экстазе прошептал:

— Телескоп! Пулковская обсерватория в центре Константинополя... Волшебно!

Я все еще не соображал, в чем дело, — временами мне казалось, что оба слегка рехнулись. Только много позже я понял, что великие люди редко получают признание при жизни. Через минуту мы были уже на улице и несли подзорную трубу на треножнике по направлению к Гранд Рю де Пера. Дойдя до площади мы остановились и взглянули на небо.

Была великолепная, лунная ночь.

Не знаю, что испытывают участники научной экспедиции, взобравшиеся на Эверест наблюдать лунное затмение. Но мы испытали в ту минуту, когда установили наш треножник

и направили объектив в сторону луны, страшное волнение.

И как ни дрянна была наша труба, лунный шар вдруг приблизился, сделался большим и ярким. Очертания материков и морей стали резче, отчетливо обрисовались лунные кратеры... Мы так были поглощены изучением лунной поверхности, что не заметили, как к нам подошли два щеголеватых турка.

— Турча белюрсем? — спросили они.

— Турча бельмем! — ответили мы, мотнув головой сверху вниз, как заядлые турки. Узнав, что мы не говорим по-турецки, они перешли на константинопольско-французский язык и спросили, что это за труба?

— Это не труба, обиженно ответил Яшка. Это телескоп.

Турки недоверчиво осмотрели наш «телескоп», но любопытство взяло верх, и они спросили, что мы видим?

— Луну, ответил вдохновенно Яшка, луну, покровительницу всех правоверных!

И тоном профессионального лектора он начал:

— Мы присутствуем сейчас, джентльмены, при четвертой стадии луны, которая дает вам возможность рассмотреть в наш телескоп главнейшие лунные материки, моря, кратеры и трещины... В северной части лунного диска вы увидите 14 черных пятен, именуемых морями, хотя воды на лунной поверхности нет. Внизу, у Южного полюса, расположена самая высокая гора на луне, гора Лейбница, высотой в 7.600 метров. Особой красотой отличается цирк Клавиуса, имеющий в диаметре 210 километров. Период образования гор на лунной поверхности относится...

Мы слушали и не верили своим ушам: где, в каком учебнике, в каком энциклопедическом словаре набрал этот мерзавец свои знания по астрономии? На турок эрудиция Яшки произвела потрясающее впечатление.

— Сколько стоит посмотреть на луну?

Коммерческая сторона дела еще не была разработана. Вопрос захватил нас врасплох. Но директор пулковской обсерватории не задумываясь, ответил:

— Беш пиастр! Беш!

Турки вынули по пять пиастров и протянули их астроному. С видом оскорбленного величия он ответил:

— Джентльмены, я даю лишь сухие научные объяснения. Прошу вручить деньги кассиру!

И он презрительно ткнул пальцем в мой котелок,

который немедленно сполз мне на уши.

Турки прилипли к объективу. Пока они любовались луной, к нам подошли три американских матроса в белых шапочках, — Константинополь был в это лето полон союзными моряками. Матросам пришлось стать в очередь, чтобы поглядеть на луну. Через час в хвосте уже стояло два десятка человек, и мы оказались заняты по горло.

Научный работник говорил без устали, проявляя бездну эрудиции, и даже пытался в популярной форме разрешить вопрос о возможности жизни на луне. Второй компаньон наблюдал за порядком в очереди, а кассир хищнически взимал плату.

Было уже очень поздно, когда мы кончили работу и поплелись по Юксек-Калдериму. Коста был давно закрыт, погасли вывески кинематографов, на улицах попадались только редкие прохожие, но под пожарной башней мы нашли кофейню, где сонные турки докуривали наргилэ и играли в домино, и где можно было еще получить кофе и ледяную султанскую воду «саук-су».

Карманы были набиты лирами и пиастрами. Бумажки сыпались из меня, как из рога изобилия, — никогда больше в жизни я не чувствовал себя таким безгранично богатым, как в ту ночь... Расходы по оборудованию пулковской обсерватории были полностью покрыты. Мы выручили в первый же раз больше, чем стоила вся подзорная труба и треножник фотографа.

— Завтра, говорил мечтательно Яшка, завтра дело будет поставлено по-американски. Нам нужно даже внешне быть похожими на астрономов, а то у нашего кассира в его непромокаемом пальто и котелке вид мазурика, а не научного работника. Предлагаю на голосование две резолюции: «Резолюция первая. Научным работникам передвижной константинопольской обсерватории присваивается форма — бархатный берет с нашитыми серебряными звездами». Резолюция вторая: «На ежедневное довольствие астрономов отпускается повышенная дотация в размере трех лир с обязательным включением в меню двойной порции баклавы». Возражений нет? Принято!

— Я ходатайствую об отпуске мне аванса на покупку желтых ботинок, нерешительно сказал Захарьянц. Я видел в окне одну пару. Волшебно!

Наступило зловещее молчание. Яшка Курчавый прищу-

рился и спросил:

— Быть может, достопочтенный джентльмен из Галаты желает также приобрести за казенный счет увеселительную яхту?

Мы долго мечтали в эту ночь.

Мы мечтали о том, что накопим много денег, купим себе фальшивые паспорта и уедем куда-нибудь подальше из этого проклятого города, переполненного оборванными русскими, от всей нестерпимой константинопольской жизни и невыносимого безделья.

Мы мечтали до тех пор, пока в нижней части города не начался пожар. Из башни, у которой мы сидели, выбежали с воплями и криками босоногие люди, в одном нижнем белье, с игрушечной помпой на плечах. Это были константинопольские пожарные.

— Смотаемся на пожар? — нерешительно предложил Захарьянц.

— Пожар кончился, ответил Яшка. Пока эти в кальсонах добегут, дом все равно сгорит дотла.

И мы поплелись спать.

* * *

Стояли безоблачные дни и прозрачные, синие ночи.

Мы тихо богатели и даже раздобыли где-то книжку с биографией американских миллионеров. По книжке выходило, что все миллионеры начали с торговли газетами на Бродвее или были в юности чистильщиками сапог. Таким образом, мы находились на правильном пути... Впрочем, я вскоре бросил торговлю газетами на пароходиках и всецело посвятил себя астрономии.

Днем мы наслаждались жизнью. Бродили по крытым, прохладным базарам, где тучные люди с миндалевидными глазами торговали фесками, козлиными чувяками, шитыми золотом, ароматическими куреньями и рахат-лукумом. Попрежнему жарко палило солнце, но лето уже проходило. Мы заметили это по лоткам фруктовых лавок. Давно исчезли арбузы, появился тяжелый и сладкий смирнский виноград, над которым роем вились пчелы. Потом пошла осенняя башмала, кровавые гранаты и сухие рожки. И однажды мы заметили, что небо над Босфором стало особенно синим, на теневой стороне улиц — прохладно, и что турки

начали готовиться к Рамадану.

О наступающей осени думать не хотелось; дела наши шли превосходно. Мы стали своего рода ночной достопримечательностью Перы. Ни один гуляка не проходил мимо телескопа, чтобы не посмотреть на луну и не выслушать оригинальную теорию Захарьянца о будущих междупланетных сношениях, сильно напоминавшую Жюль Верна.

За лето мы отъелись, раздобрели и даже обзавелись имуществом. Яшка купил себе велосипед с какими-то необыкновенными тормозами и ацетиленовым фонарем у руля. Вскоре, однако, выяснилось, что в Константинополе очень трудно ездить на велосипеде; улицы вымощены неровным булыжником, всюду лестницы, и каждый день Яшке приходилось тащить велосипед на своей спине, поднимаясь по Юксек-Калдериму. В общем, он был мучеником идеи.

У Захарьянца появились остроносые желтые ботинки, предмет давних вожделений, и посох с серебряным набалдашником, — продавался он так дешево, что жаль было упустить выгодный случай. Когда Захарьянц шел по улице, важно опираясь на свой посох, мальчишки принимали его за армянского католикоса в штатском и корчили вслед рожи.

Я давно расстался с непромокаемым плащом и котелком и купил в комиссионном магазине дьявольски элегантное черное пальто с шелковыми отворотами и сфотографировался в этом виде.

В общем, мы чувствовали себя баловнями судьбы и беспутными прожигателями жизни.

Катастрофа наступила неожиданно.

В ноябре начался норд-ост. Задул ледяной, колючий ветер. Небо покрылось тучами. Наступил сезон дождей. Дождь шел дни и ночи, хлестал по пустынным улицам, превращая их в горные потоки, унося в море все летние отбросы города... На Босфоре густой, белой пеленой стоял туман.

Мы смотрели в окна и видели всегда один и тот же унылый и отсыревший фасад дома через дорогу. Улица была такая узкая, что казалось — достаточно высунуть руку, чтобы коснуться этой облупленной, жалкой стены. И от одного вида этой стены, от восточных ее окон с железными кованными решетками, как в средневековой тюрьме, хотелось выть от тоски. Временами нам начинало казаться, что все-

мирный потоп начался именно здесь, в Константинополе, точно таким, омерзительным, непрерывным дождем, что дождь этот никогда не кончится, и что никогда больше мы не увидим чистого неба, усыпанного звездами и нашу кормилицу луну.

Мы ходили к хозяину квартиры, еврею-эспаньолу и спрашивали его, когда погода переменится? Он смотрел на нас грустными глазами, цокал языком, мотал головой снизу вверх и сверху вниз и тяжело вздыхал. У него была вечно больная жена и куча прожорливых ребятишек, которые без спроса забирались в нашу комнату и мешали нам жить.

Три недели мы ждали конца дождей и чистого неба.

Персонал пулковской обсерватории впал в уныние. Капиталы быстро таяли. На четвертую неделю за пятьдесят турецких лир я купил визу в Италию и бумагу о том, что являюсь «Протэтто спечиале италиано». Сознание, что мне специально протежирует итальянское королевство, преисполнило меня гордостью и чувством собственного достоинства. И еще через два дня я распрощался с компаньонами и, под проливным дождем, сел на судно, шедшее через Пирей в Неаполь.

Под вечер наш пароход вышел из Босфора в Мраморное море. Еще через час ветер спал и дождь прекратился.

Ночью на безоблачном небе сияла полная, великолепная, насмешливая луна.

ЮЗ АЛЕШКОВСКИЙ

ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА В ПИСЬМАХ «КАРУСЕЛЬ»

ЭТУ ЧАСТЬ ПИСЬМА я вынужден сегодня же отправить. На днях, остыв от воспоминаний, возьмусь за следующее, самое, пожалуй, тяжелое для меня письмо. Страшит меня оно, страшит, но если уж я взялся за какое-нибудь дело, то не могу и не умею остановиться на полдороге. Не умею к сожалению...

В двух словах о моей московской жизни. Мы ждем ответа из ОВИРа второй месяц. Я по-прежнему помогаю старым евреям паковать на почтамте монатки. Если я вижу, что денег у них кот наплакал, то за свою квалифицированную работу не беру ни копейки, сколько бы мне ни предлагали. Но, если меня умоляет упаковать и подготовить к таможенному осмотру мебель, посуду, пианино и прочий домашний скарб какой-нибудь гешефтер или акула из торговой сети, у которой денег куры не клюют, хоть жги их на Красной площади, то я, будьте уверены, беру свое. Цену в таких случаях назначаю я, и меня еще при этом носят на руках, потому что я не деру три шкуры, как казенные упаковщики, а пакую на совесть, не то, что эти наглые и бессовестные прохиндеи. У них задача одна: взять побольше, а упаковать похуже, чтобы эмигрант-еврей, русский, немец, литовец, армянин, украинец или негр, приехав на место, отколупнули от ящиков жестяные накладочки, повытаскивали гвоздики из дощечек и, горя́ от человеческого нетерпения встретиться с близкими, а иногда любимыми, как пустяковыми, так и ценными вещами,

заглянули внутрь и отпрянули от багажа в горе и досаде. Одни черепки, дорогие, приходят иногда во все страны мира после упаковки казенными упаковщиками эмигрантского багажа. Черепки, труха, обломки, каша. Каша от пианино «Красный октябрь», черепки от сервизов, фужеров, зеркал, труха от коробочек, шкатулок, обломки сервантов, книжных стенок, столов и стульев.

Один подонок, алкоголик и продажная падаль, которую уже вообще никуда на работу не брали, а в упаковочную приняли за подписку о сотрудничестве с КГБ и таможней, признался однажды за рюмкой, не разглядев во мне еврея, что впервые в жизни получает он душевное удовлетворение от труда, ставшего теперь, можно сказать, любимым. Я, говорит, с радостью хожу на работу и знаю, для чего тружусь, не то что на ЗИЛе или же на стройках. Я Мойшам и Сарам так говорю прямо в лоб: триста, например, на бочку и шмутки будут в ней лежать, как тихоокеанские селедки: ровнехонько, бочок к бочку, тютелька в тютельку. В противном случае все может быть, и я за это не отвечаю. Как миленькие, говорит падаль, выкладывают. Кто же за сохранность вещей не выложит любые денежки? А их жидовня накопила за тыщу лет миллиарды. Даже в газете «Известия» и в журнале «Огонек» писали недавно об этом и прочем сионизме. Вот я и делаю им из сервизов сюрпризики, радуйтесь, думаю, Бори, Яши и Изики. Бой в багаже приходит.

Я иногда подсуропливаю (подкладывает свинью) кое-что почище. Вынюхивают, скажем, у меня, не мог бы я за большие деньги заначить с концами (хорошо спрятать) в багаже камешек, золотишко, валюту, картину, гравюру и прочие цацки. Не соглашаюсь. Тяну. Делаю понт, что узнаю, кто будет дежурить на досмотре, какая смена, своя, мол, или не своя с незнакомым начальником. Потом соглашаюсь. Конечно, редко это бывает. Все же большинство евреев не дураки, отдаю им должное. Отдаю. А куш крупный беру. Беру и, скажем, багаж, в котором притырено что-нибудь, спокойно проходит досмотр. Евреи ручки потирают, в пояс мне кланяются, добавляют еще денег, тут они не скупятся, коньячком заливают так, что пару дней потом череп гудом гудит, дребезгом дребезжит, и улетают в Вену в спокойствии за некоторый завтрашний день. Улетели. Таможенники же после досмотра, снова багаж раскурочили, забрали что надо по моей наколке (информации), поделились

друг с другом и с начальством, потому что за назначение на таможню сейчас огромные деньги люди платят, и меня похвалили. Спасибо тебе, Курносов, за службу. Не пей только на работе, деньги копи, скоро машину себе купишь. Они, суки, не знают ведь, что я на еврейские денежки уже две купил и перепродал. Дом в Малаховке присматриваю. Я бы, конечно, и сам мог перепулить камень из багажа себе в карман, но они меня предупредили, что однажды я неизбежно погорю на таком фуфле (обман) и проволоку остаток дней на строгой каторге. Так что играть в кошки-мышки с таможней мне ни к чему. И так хватает.

Вот какая сволота гнилая этот Курносов. Когда он рассказывал мне о своей подлянке, я сидел в вокзальном ресторане и думал, что бы мне с ним такое сделать, с пакостью бесконечной? Бутылкой между рог вдарить или схватить за чуприну (волосы) и тыкать носом в тарелку, пока невзрачная солянка не станет багровой, как хороший украинский борщ? Может, завести в темную подворотню и печень как следует отбарабанить, чтобы отлилось Курносову горькое позднее разочарование обнадеженных людей? Как бы возмездье сотворить заслуженное такой чудовищной мрази, вместо того, чтобы пить с ним за одним ресторанным столом, пусть даже случайно? Его счастье, что накачался он, пока хвастался своими подвигами над безоружными и беспомощными людьми, так что сполз под стол. Я ушел, отплевываясь от гадливости и от того, что мои и без того немаленькие представления о человеческой подлости существенно расширились после Курносова. Но молчать я, конечно, не мог. В течение месяца один старый еврей предупреждал около Голландского посольства всех отправлявших багаж из Москвы малой скоростью о существовании мерзкой твари — упаковщика Курносова, краснорожего, голубоглазого, седоватого, обходительного и на вид душевного человека. Стараться избегать его услуг. При случае говорить в глаза, что он — гнида и что колун по нему плачет. Давать упаковывать только одеяла, белье, перины, подушки, одежду, футбольные мячи, ковры, кухонную посуду и так далее, то есть то, что повредить в дороге трудно и не жалко. И что вы думаете? Прогнали подонка. Прогнали, потому что перестал он сдавать таможенникам заначки с цацками, и те, естественно, подумали, что Курносов зажравшись сам перепуливает их куда-то. В два дня его съели с потрохами. Подняли жалобы,

присланные эмигрантами из-за рубежа, выгнали Курносова из упаковки, а эмигрантам сообщили, что виновные в халатном отношении к служебным обязанностям сурово наказаны, и что оно больше не повторится. Как будто можно было повторить выезд людей из СССР, обеспечив при этом более качественную упаковку. А у меня зато теперь целое упаковочное дело. Иногда Федор приезжает в Москву и мы на пару трудимся. Пилим доски, сколачиваем, прокладываем мягким бьющееся и полировку и так далее. Наладил я связь с хлопцами. Нарезают мне в одном месте доски нужного размера — только сколотить их остается — снабжают картоном, стекловатой, жестью и веревками. Пара грузовиков всегда у меня под рукой. Кто в наше время не хочет приработать? Все хотят. И председательница палаты национальностей Верховного совета Насридинова тоже хотела, но аппетиты ее подвели, говорят. Деньгами уже не брала. Только крупными брилльянтами. А шоферня и ребятишки со складов, славные надо сказать ребятишки, и все до одного антисоветчики, рады, когда им сотня-другая перепадает на харчишки и выпивку. Они при этом весело говорят:

— Ты не думай, Давид, что мы у государства воруем. Не воруем мы, а боремся с инфляцией.

Вы бы написали, кстати, дорогие, запрос из своей Америки в газету «Правда», как у нас в стране обстоит дело с инфляцией. Интересно, что ответит газета, призванная говорить, если верить ее названию, все, как оно есть на самом деле? Очень интересно. Наверное, «Правда» ответит примерно так, как предполагает Федор: «В ответ на ваш запрос относительно инфляции в Советском Союзе рады сообщить, что инфляция является верным спутником капиталистического способа производства. В нашей стране уничтожена социальная база для ее возникновения и развития. (См. работу В. И. Ленина «Что делать?» и II том сочинений Л. И. Брежнева). С приветом американским рабочим, чл. редколлегии Валентин Зорин».

В общем, если некоторым мазурикам из московской упаковки доставляет удовольствие мелко пакостить людям и вымогать из них при этом немалые деньги, то мы с Федором радуемся, когда из дальних стран вдруг через кого-то нам приходит большое спасибо. Приятно помогать людям и делать свое дело на совесть.

Но, чтобы больше не возвращаться к малоинтересной

теме упаковки, скажу вам следующее: безусловно, если бы начальство распорядилось по указанию политруков сверху относиться к покидающим страну людям и их монаткам по-человечески, не унижая их достоинства и не плюя в души, скорбящие зачастую из-за разлуки с какой-никакой, а все-таки с родною страной и с друзьями, то подножная шваль, вроде рядовых шмонщиков на таможнях, упаковщиков и носильщиков, которая продаст за сто рублей родителей и ту же родину, если представится удобный момент, побоялась бы, не в силах воспользоватся безнаказанностью, творить бездушный произвол и делать все, чтобы напоследок у человека осталось в душе ощущение гадливости и смрадного страха, переносимое затем на всю, не гнушающуюся мелко пакостить безликую сверху державу, и ее пораженных старческим предсмертным садизмом руководителей. Так говорит Федор, и я подписываюсь под его словами всеми руками и ногами.

Вот я сейчас готов продолжить рассказ об обыске, чтобы перейти затем к последующим событиям в моей жизни, в жизни Федора, и всей моей семьи, готов, но опускаются руки и душу воротит от стола с листком ожидающей меня бумаги, настолько тяжело все, что было, настолько робеет все мое существо, устрашаясь снова пережить даже мысленно все происшедшее, что не уверен я, что в этот вот миг не смотаю я, плюнув на все свое сочинительство, родимые удочки и не отправлюсь на Москва-реку блаженно скинуть с сердца груз воспоминаний, унять возникшую боль и уподобиться поплавку, который легко держится на могущественной, дремучей и темной стихии, не способной проглотить такую незначительную легковесную частичку, как он.

Но вот я подумал так и внезапно, вместе с изменением тягостного состояния духа, ко мне явилось расположение к непривычной умственной работе. Не надо к тому же корчить из себя большого страдальца и думать, что пережить нечто было гораздо легче, чем вспоминать его впоследствии. Не надо. Не то, заприметив такое твое лукавство, Всевидящий возьмет да и лишит тебя мучительной памятливости, а переживаний подкинет столько, что вспоминать их будет просто некогда. Пусть лучше душа твоя будет благодарно памятливой за малюсенькие проблески в тяжкой цепи бед, утрат и перенесенных несправедливостей, пусть она будет всегда благодарно памятливой за продолжающуюся вокруг тебя и в тебе самом после всего, что было, яростную

и нежную жизнь, с непостижимой снисходительностью терпящую сопутствие с собою страданий и смерти. Не больше ли она их всех — страданий и смертей вместе взятых? Неизмеримо больше! На то она, дорогие, и жизнь... Двинемся дальше. Возвратимся в тот злополучный день.

Таська, ее прекрасно выспавшийся физкультурник, стукач-сосед, Гнойков и второй хмырина с нетерпением ждали, когда первый хмырина закончит составлять протокол обыска. А мы с Верой сидели и печально переглядывались. Квартира наша, такая уютная и чистенькая еще несколько часов назад, была похожа на растрепанную, изнасилованную девку. Казалось, она сильнее, чем мы — близкие ей люди — переживает случившееся и не может после него опомниться. Все в ней страдало, верьте мне, все! И сбитые на бок рамки фотографий, с одной из которых прабабушка моей Веры, странно усмехаясь, смотрела на остатки пережившего ее буфета, и сдвинутая со своих мест мебель, и опущенные, несмотря на дневное время, шторы, и перекособоченные половики, и полусдернутые с гвоздиков коврики, и перещупанные подушки, и перевернутые постели, и многое другое. Только мелкие, разбросанные там и сям по полу вещицы и пустяковины, о существовании которых я лично давно забыл, красовались в самых неподходящих местах, откровенно вызывающе радуясь случайному вызволению из давнего забвенья и поражая разум своей очевидной никчемностью.

— Все — на помойку! — скрипнув зубами, сказал я Вере. — В доме не должно быть ничего лишнего! Тебе понятно?

— Да, мне понятно, что из дома должно быть выброшено все́, кроме вон той амбарной книги, — ответила мне Вера, и я почувствовал, что упрек жены справедлив.

Стукач-сосед то и дело заглядывал в то, что писал первый хмырина. Гнойков, удовлетворенно подергивая ляжками, смотрел в окно. Он ими, сволочь, подрагивал, как шелудивый пес. А Таська пристроилась к первому хмырине, локоть к локтю и завороженно следила за движениями его здоровенной никелированной винтовки — шариковой ручки. Физкультурник вполголоса обещал второму хмырине устроить его дочку в гимнастическую секцию дворца спорта. Когда они успели снюхаться — непонятно. Телефон звонить перестал. Зато начались звонки в дверь.

— Говорите, Тюрин, что Ланге скоро освободится, —

велел первый хмырина.

— Слышал? — с ужасом спросила Вера.

— Ты хочешь, чтобы я освободился не так скоро? — переспросил я шутливо, но кошки заскребли мою душу от этого слова, и даже не столько от него самого, как от тягостного непонимания — с расчетом на трепку нервов употребил это резанувшее сердце слово «освободится» хмырина, с намеком на возможное изменение течения моей жизни, или же мне следует возликовать в душе от некоторого прояснения тоски ожидания, выкинуть из головы мысли о тюрьме, следствии, суде и перестать гадать, сколько я заработал: три года, пять или все десять. Может быть я действительно скоро освобожусь. Подпишу протокол и на радостях, что меня не забирают, потрясу подобострастно руки шмонщикам на прощанье и на радостях же приглашу распить бутылку стукача-соседа, ибо взмолившись о том, чтобы не забирали меня из моего дома в каталажку, я чувствовал, что готов простить даже гнусную гадину, готов отказаться от всех своих претензий к людям, к советской, будь она трижды проклята, бездушной власти, готов просить у Бога прощенья за различные сетования, ничтожество которых стало мгновенно очевидным рядом с безмерностью свободы, вообще не ощущавшейся мною всего каких-то несколько часов назад, и по безумной легкомысленности, по привычному самодовольству, не принимавшейся в расчет в моих отношениях с людьми, миром и временем жизни. «Господи, — говорил я, повторяя про себя — Ланге скоро освободится... Ланге скоро освободится... Ланге скоро освободится» и надеясь, что это «скоро» не растянется на неведомо сколько лет, уже навалившиеся на мои плечи черным гнетом предвосхищенной от страха адской неволи, «Господи, говорил я, пусть болезни, пусть нищета, пусть недоедание, пусть бесконечные унижения, пусть беспросветность мертвословья газет и парторгов, пусть даже вечный страх потери свободы, пусть, но не лишай Ты меня за все, за это, хотя бы ее самой, не лишай, Господи, ибо внезапная ясность того, что нет на свете ничего ее дороже, потрясла и теперь уже до гроба не прекратит потрясать мою душу»...

...Так я говорил и трепетал, словно маленький мальчик, и вдруг кровь ударила мне в голову так сильно, что я почуял испарину пота на лбу и безмолвно сжался в комочек от явного присутствия в своем существе ничем неизмеримого стыда:

— Краснеете, Ланге, — сказал первый хмырина. — Это хорошо. Краснейте. Есть за что краснеть.

От этой швали не укрылось, что со мной что-то происходит. Но я промолчал. Я в тот же миг понял причину явления такого горячего стыда и ужаснулся. Меня ужаснуло, какие возможные бездны подстерегают человека и его душу при осознании им величайшей из ценностей жизни — свободы, при инстинктивном страхе ее потерять, при слепой защите ее всеми силами, всеми средствами, всей изворотливостью ума. И вот, я, Давид Александрович Ланге, затрепетав от приближения неволи, взмолился не отлучать меня от свободы и как бы давая понять — бесстыдная я тварь — не кому-нибудь, а самому Господу Богу, что на все я способен ради нее, на все! Это значит, что где-то в глубине души или ума, черт меня знает, где, я прикидывал возможность такой выгодной махинации, такого славного гешефта, при совершении которого я мог рассчитывать остаться на свободе? Так, что ли? Неужели присутствовало во мне желание встать и сказать:

— Товарищ Скобликов! Считаю необходимым дать следующие показания для облегчения своей участи и выяснения правды. Да! Это я записывал в тетрадь крайне антисоветскую клевету. Но это не моя клевета и не мои мысли. Я — глупый. А наговорил мне все это Пескарев Федор Ипполитович. Зачем переписывал, сам не пойму. Простите! Оставьте меня дома для семьи и оклеветанной родины.

«Боже мой, думал я, неужели во мне живет и человек и мокрица еще хуже и гадливей той, что обитает за моими стенами и сочится сейчас от счастья, что сделали ее понятой при обыске человека, которого она ненавидит за вмешательство в ее изгилянии (издевательства) над беззащитной женой и старухой-матерью?»

«Господи, прости, взмолился я, просвещаясь все больше, не с Тобою вступают в такие сделки, не с Тобою, но с чертом, и спасибо Тебе за ясность, какою должна быть молитва благородного и верного человека, дрожащего от страха кануть из свободы в неволю, я к Тебе, Господи, обращаю ее в сей миг: упаси всею силой Твоей и благорасположением Твоим ко мне, червю ничтожному, от омерзительных искушений, не принимай вовек моей платы слабостью бесчестья и низостью предательства за желанную

и сладостную свободу, ибо Ты открыл мне, как, *нечто* сохраняя, теряют и поистине живут в заблуждении, что сохранили свободу, как в черной темени тюрьмы. Поистине, теперь мне смешно думать, Господи, что кто-то может лишить душу Твоего сохраненного в целости Дара, но с ним и тюрьма — не тюрьма, а лишь испытание. Так вот: дай Ты мне силы и впредь для страшного испытания свободой и тюрьмой, не смешивай меня с грязью, бросая в сомнения и недомыслие, избавь от последующего стыда».

Возможно, я только сейчас облекаю в точные слова все прочувствованное тогда за какие-то мгновения, но пока они там молчали, составляя протокол, я — может быть и не старый, но очень пожилой человек — ощущал себя таким маленьким мальчиком, пережившим умопомрачительный страх, и тут же, до мучительного стыда, устрашившимся его самого, что внезапное прояснение души довело меня до потрясения в чистом покаянии и исторгнуло горькие и счастливые, словно в детстве, слезы из глаз.

— Ничего... ничего... поплачь... я с тобой, — шептала мне Вера, тыркая в руку носовой платок и несомненно правильно понимая все, что во мне происходило, и, хотите верьте, хотите не верьте, именно в те минуты я был счастлив и свободен, как редко бывал свободен и счастлив.

— Слезы лить поздно, Ланге. Москва слезам не верит, — сказал Скобликов. — Теперь ваши показания важны, а не слезы.

— Плакать надо было, когда притыривали книжицу, — не удержавшись добавил Гнойков. Его прямо распирало от хвастовства, что нашел-таки он, нашел притырку, когда уже всем казалось, что искать больше нечего.

Кстати, дорогие, в телефонном разговоре со мной вы имели глупость поинтересоваться, где это я набрал таких «словечек». Хорошо еще, что вы не брякнули прямо в подслушивающие уши о моих регулярных нелегальных письмах. Спасибо вам большое. А словечек я не набирал. Они въедаются в язык, как, повторяю, железная пыль и стружка в ладони. Если вы могли бы вообразить, сколько людей за 60 героических лет политруки от имени нашей родины продержали в тюрьмах и лагерях, где коверкается все нормальное людское — язык, совесть, душа, половые органы, мозг, ноги, желудок, руки, кожа, кровь, цвет глаз, зубы и многое другое, коверкается, бывает, настолько, что даже ничтожный

барачный клоп считает абсолютно невозможным делом продолжать жизнь за счет исковерканного условиями неволи человека, то вы не задавали бы, особенно по международному телефону, дурацких вопросов.

Да! Хранил меня Бог и хранит. Сам я сиживал только на «губе», специально не объясню, что это такое, поищите в словарях, но и на фронте, дружа со штрафниками-уголовниками, и после войны, общаясь с работягами, побывавшими по пустяковым делам в лагерях, я привык разговаривать с ними, извините, трекать и ботать, на их языке. Или вы полагаете в своей безмятежно демократической Америке, что если лагерная жизнь миллионов людей стала частью общей страдальческой жизни России, то язык ее должен был остаться прежним: мастеровой — мастеровым, крестьянский — крестьянским, пижонский — пижонским, гешефтерский — гешефтерским, а целомудренно-девичий — целомудренно-девичьим и так далее?

Вы ошибаетесь. Язык лагерей и тюрем, в которых соседствовали судьбы святых и убийц, гениев и растлителей малолетних существ, рабочих и грязных мошенников, крестьян и скотоложцев, балерин и форменных каннибалок, священнослужителей и педерастов, философов и карманников, язык невинных душ и неимоверных злодеев не мог не смешаться, не мог, как говорит Федор, делать вид, что судьба людей не имеет к его судьбе никакого отношения, но и приняв в себя то, без чего он вполне сумел бы обойтись, то, что даже безобразно выражало мытарства страны и народа, он не вымер, не утратил своей сущности, считая для себя более приемлемым и безобидным явлением живой воровской жаргон и самый грязный мат, чем мертвую фразеологию партийных придурков и прочих гнусных трекал. И сколько бы десятилетий подряд они ему ее ни навязывали, как бы ни втесывали в самую душу с помощью всех средств своей взмыленной пропаганды, мой родной русский язык отторгает от себя ложь партийного мертвословья, доводя до бешенства казенную писательскую шушеру, жандармерию и кремлевских старичков, давно перешедших с собственной живой речи на слюнявую стерильную жвачку референтов. Вы заметили, дорогие, что наши политические руководители без бумажек вообще с трудом ворочают языками? Вывихнуты их языки бесконечными «давай, давай» и отвычкой думать собственными головами...

Вывел меня тогда из бурных размышлений и терзаний раздраженный голос Гнойкова. Он орал в передней:

— Сказано или не сказано, что скоро он освободится?

Я бы тогда, честное слово даю, расцеловал Гнойкова в его плюгавую, экземную рожу за то, что понял: не возьмут они меня с собою на этот раз. Не возьмут. Что дальше будет — поживем, увидим, а сейчас не возьмут, уйдут, псы, оставят нас с Верой вдвоем, и я повинюсь перед ней за свое идиотство. Между прочим, я случайно обратил внимание на то, что физкультурник как-то вяло сник лицом и фигурой, прямо в тот же миг, когда я воспрянул духом от слов Гнойкова: «скоро освободится!»... Физкультурник вздохнул, подошел к окну и выглянул во двор из-за шторы. Выглянув, уселся и тупо уставился на обломки буфета. Он то и дело вздыхал, пытаясь освободиться от чего-то страшно тягостного, навалившегося на душу и не отпускавшего, несмотря на попытки отвлечься куревом, разговором со вторым хмыриной и дремотой.

— Водил бы что ли быстрей своим концом! — грубовато заторопила первого хмырину Таська. — Надоело. Спать пора, а мы еще не жрамши!

— Я здесь не на прогулке, — сказал Скобликов, — а вы выполняйте свой гражданский долг. Не каждый день ведь это случается.

— Не каждый, — сказала Таська с большим намеком, от чего Скобликов неожиданно заторопился и вежливо предложил мне ознакомиться с протоколом.

— Куда ты все спешишь? — тоскливо и ненавистно сказал своей бабе физкультурник.

— Жить я спешу! Жить! Сонная твоя харя! — взвизгнула Таська.

— Не отвлекайтесь, товарищи понятые. Скоро вы будете предоставлены самим себе, — пообещал первый хмырина — Скобликов, а физкультурник сжался, словно от озноба в углу дивана и лицо его стало отсутствующим и опустошенным.

«Плохо опохмелился» — решил я и взялся за чтение. Читаю... «В соответствии... квартире Ланге... присутствии понятых... в том, что найдены материалы... амбарная книга... клеветнически порочащие советскую действительность... внутреннюю и внешнюю... искажающие верный курс... грубые выпады в адрес руководителей партии и правительства...

начинающаяся со слов: «В чем сущность патологического нежелания выживших из ума политиков спуститься с вершины власти?» Кончающаяся словами...»

Представьте себе, дорогие, последняя моя запись в амбарной книге была та, которую я выше процитировал вам слово в слово, запись высказывания Федора о языке. Я и не подозревал, что она так точно отпечаталась в моей безалаберной памяти. Я из неожиданного озорства прочитал ее до конца и вслух, с удовольствием внутренне соглашаясь с каждым словом, хотя Скобликов пару раз пытался меня перебить. «И сколько бы десятилетий подряд они ее ему ни навязывали, как бы ни втесывали в самую душу с помощью всех средств своей взмыленной пропаганды, мой родной русский язык отторгает от себя ложь партийного мертвословья, доводя до бешенства казенную писательскую шушеру, жандармерию и кремлевских старичков, давно перешедших с собственной живой речи на слюнявую стерильную жвачку референтов».

Я не спеша подписал протокол.

— Да-а-а, — протянула с большим удивлением Таська. — Наговорил ты на старости лет на свою голову. Дурак... Лучше бы мужским делом занимался, чем антимонией всякой. Мужья у нас с тобой, Вера! Где тут отметиться? — зло спросила Таська.

— Надеюсь, вы не будете рассказывать на всех перекрестках обо всем, что было?

— А че было-то? А че было-то? — снова намеком затараторила Таська, нарочно вводя в краску соблазненного чина. — Кабы было, а то не было. Бывайте.

Гнойков закрыл за ней дверь. После Таськи расписался, не глядя на меня, но видимо буйно в душе торжествуя, сосед-стукач. И не держал я в те минуты почему-то зла ни на шмонщиков, ни на него, ни на Таську. А физкультурник расписался не читая. Судя по тупому, но бегающему взгляду пустых глаз, он был где-то далеко от нас и моих дел, наедине с какой-то своей, не дававшей ему покоя тягостью.

— Спасибо. Можете идти. Рассчитываем на вашу сдержанность, — сказал ему Скобликов.

— Заяц трепаться не любит, — уныло сказал физкультурник. — Я тут задержусь. Поговорить вот с Давидом надо.

— Не до тебя мне, Альберт. Иди домой. Не до тебя, — сказал я, и он нехотя ушел. Впечатление было такое, что он

прямо подтаскивал себя к двери. Ушел. Только его мне не хватало тогда. Расписался и сосед, что-то шепнув Скобликову. Тот кивнул головой и сказал мне:

— Распишитесь, Ланге, о невыезде. — Я расписался в какой-то бумажке, не читая. — Советую вам подумать до вызова обо всем. И все учесть. Я ведь догадываюсь, кто автор всей этой вражеской философии. Сваливать на уехавших в Израиль диссидентов не советую. Не пройдет. Мы не маленькие. До свидания.

— Проводи их, — сказал я Вере. Они ушли наконец.

— Вот какая карусель, — сказал я виновато, как всегда в таких случаях, побаиваясь смотреть в глаза жены. Она ответила:

— Что теперь будет? — но в голосе ее был не страх, а готовность ко всему, что ни пошлет нам судьба, не упрек, а поддержка. Когда я, тяжело вздохнув, поднял глаза, я увидел молча стоявшего на пороге Федора. Из-за его спины выглядывали низкорослый Савинков, Мурашов, Половинкин — мои товарищи по цеху, ушедшие недавно на пенсию.

— Они копают под меня, — сказал я.

— Почему шмон? Что они искали? — спросил Федор, брезгливо осматриваясь.

— Бриллианты прабабушки, — шутливо сказал я и кивнул на славные останки ее буфета.

— Оборзели! — возмутился Савинков, у которого в 68 году из Чехословакии убежал в Австрию сын, офицер-танкист. — Оборзели! Ты-то тут при чем?

— Без пяти минут герой труда, — добавил Мурашов.

— Внес в протокол, что буфет сломали? — спросил Федор.

— Братцы! — воскликнул я тогда. — Плевать на буфет! Пускай они сходят с ума, как хотят, а мы... Мы сейчас отметим бесславный конец моей рабочей карьеры! Нечего откладывать на завтра то, чего не сделал, пока еще тебя не посадили! — Я говорил весело и снял напряг момента. — Звоните всем! Мы с Верой займемся столом! Всем звоните!

Я выбежал на кухню, потому что испугался истерического веселья и радости, и почувствовал, как задрожал мой голос, как начало меня пьянить без вина избавленье от гебешников и счастье быть свободным, пусть временно, пусть перед черт знает чем, и видеть в эту минуту своего друга Федора

и цеховых старых приятелей... Боже мой! Как мало, оказывается, надо для счастья, которое по жадности и неразумию кажется нам кратковременным, но которого вполне может хватить на всю жизнь при нашей благодарной памятливости! Я вам уже о ней говорил, дорогие. Разве не было у меня раньше таких минут? Были! И не мало!

От чего только не берег меня Господь. Ужас охватывает от являющихся воображению моментов смертельной опасности, преддверий всевозможных бед, я не преувеличиваю — ужас, разрешающийся удивлением перед чудом спасения и всего, чего исключительно с Божьей помощью ты избегал и вот сегодня избег снова. Так почему же меркнет постепенно в душе память о счастливом избавлении, и безумная радость, казавшаяся бесконечной? Может быть следует поступать более мудро и менее восторженно, когда отдаешься всем своим существом прихлынувшей к сердцу горячей волне благодарной радости с тем, чтобы, так сказать, попытаться растянуть ее запас подольше, обращаясь к ней лишь в крайних, почти невыносимых случаях придавленности удушливой скукой дней, и являть тогда людям, удивленным твоей душевной неприхотливостью и светом смирения, лучащимся из твоих глаз, пример блаженного счастливца?

Вот и тогда, стоя на кухне над раковиной и умывая лицо холодной водой, я клялся Богу не забыть вовек очередной Его милости, кто-то в тот же миг лукаво ухмыльнулся за моей спиною: забудешь ведь, стервец, забудешь!

Была бы если возможность взять этого беса в руки, я незамедлительно взял бы, обломал рога, припалил копыта, и — в окно, под ж... коленом, на российский мороз, и не за что-нибудь, а исключительно за пошлое мелкое хамство.

Не забуду, Господи, твердо и упрямо повторил я, по-моему чуть ли не вслух, забывать уже некогда, немного дней остается, не те годы, чтобы забывать, все я сейчас вспомнил, прости за глупость, темноту и грех неуемной жадности, прости, что осчастливленный чудом собственной жизни, я имел наглость молить Тебя о дополнительных чудесах.

Умыл я лицо и руки холодной водой, вышел из кухни, а там уж народу полно. Все — приятели, все — дружки, все — без жен. Померли кое у кого жены, а новых брать в наши годы непотребно. Прибирают в квартире, стол расставляют, о том, что было — никто ни слова. Я понял — им все уже

известно. Вова на мое счастье вдруг заявился с Машей и внуками. Я о них ничего не рассказываю в письмах, потому что самих заставляю написать. Хорошие внуки и Алеша и Джозефина. Теперь Маша утверждает, что она всегда мечтала, что дочь ее будет жить, хоть у черта на куличках, но только не на большевистском подворье, и что сверстники будут звать ее на американский манер — Джо. Впрочем, ее и сейчас так зовут. Не хотят внуки ехать. Боятся, что еще один, а то и два языка изучать придется в школе. Лентяи. Но ладно.

Весело мне было после пережитого за день так, что я носился по квартире, всем угождая, как перед свадьбой серебряной. Об украденной закуске старался не вспоминать, хотя ее явно не хватало. Хорошо, что один приволок по старому нашенскому обычаю баночку грибов такого засола, что под них хлористый кальций лакать можно, другой — патисончиков, маринованных своими руками, и баклажанную икру, третий — огурчиков и помидорчиков, четвертый — зельц, тоже самолично захреначенный (сделаный) из купленных в кормилице-Москве свиных голов... Описывать как мы пили, ели, пели и отбивали чечетку, не буду. Было замечательно весело и душевно, не говоря об одной из впечатляющих и неожиданных минут моей жизни. Вдруг раздается звонок. Открываю дверь. В передней тут как тут оказались Вера, Вова и Федор. Думали, что забирать меня пришли. Открываю, значит, дверь. Ничего не понимаю. Стоит перед ней здоровенный парень лет девятнадцати, нос в крови, голова растрепана, под глазом — приличный фингал (синяк). Всхлипывает, на губах красные слюни пузырятся. А за спиной его громадной — мужичишка невзрачный.

— Вы не ошиблись? — говорю, всматриваясь в их лица, и поэтому не замечая, что там у пришельцев в ногах, на бетонном полу подъезда.

— Не ошиблись, — ответил мужичок мрачно и зло. — Говори, сукоедина! — он ткнул верзилу-парня кулачиной в бок так, что тот чуть не влетел в мою квартиру. — Говори, пакость, не то живым отсюда не выйдешь!

— Вот... мы... то есть я.. случайно, — замямлил парень. Кровь булькала у него в горле. Ему было трудно говорить. — Вот... возьмите...

Я взглянул ему под ноги и обомлел. На полу стояли оба мои украденные со скамейки у подъезда ящика: картонный из-под конфет «Кремлевские звезды» и пластиковый

синий с «Боржоми». Несколько гнезд в нем были пусты.

— Кайся, гаденыш, не то убью! — решительно ясно велел мужичок.

— Слу... слу... — парня трясли то ли рыдания, то ли страх, он не мог говорить, но я и без его слов понял, что произошло. Конечно, шарахнул он дармовую снедь не случайно. Это было ясно. Я знаю этих девятнадцатилетних патлатых, пропортвейненных в смрадных подъездах. Не все они такие в нашем городе, не все, но те, что пристрастились к бормотушной дури и очумели от беспросветности своих жизней, способны были на все. Проломить череп таксисту за семь рублей выручки — пожалуйста. Вырвать у старушенции сумку с только что полученной на почте пенсией — всегда. Поджечь газеты и письма в почтовом ящике — хлебом не корми. Наблюдая за дымом, валящим из подъезда, они гогочут скотскими голосами. В одиночку справиться с такой же, как они сами, чумовой девкой они уже не могут. Они это называют хором Пятницкого. По-вашему — группенсекс, кажется. Многие из них — жестокие, злобные хорьки, не отдающие себе отчета в природе своих поступков, и если перестанешь вдруг испытывать к ним недоуменье и законную ненависть — так они затерроризировали целые районы нашего города юности, — то чувствуешь, как они несчастны, заблудившись в чащах перед светлым будущим, как невиноваты порой в том, что они таковы и безысходной кажется мысль об их будущем, будущем бездушных стареющих хулиганов и пьяниц. Мы, нормальные старикань, так и зовем обезьяньими ордами их слоняющиеся по улицам, в поисках, где бы сшибить на бутылку, толпы. Очередной призыв в ряды советской армии освобождает наш город, борющийся за звание города образцового быта, от не успевших загреметь в лагеря. Но младшие быстро берут с них пример, наследуют их образ жизни, блюя от лживой казенщины пионерских игр и комсомольских компаний. Они быстро овладевают соответствующими ужимками, фарцовкой, дискоманией, бормотухой, группенсексом, ширянием (наркоманством), мелким садизмом и паразитическим бездумьем. Причем вырождаются наши ближайшие потомки с какой-то железной закономерностью, не зависящей ни от заботы и усилий отцов, ни от устрашения законом, ни от лживых проповедей комсомольских идеологов, этих достойных своих старших парттоварищей молоденьких грызунов, понявших, что партийная кормушка —

не жалкий подъезд и тоскливая осенняя улица, что в ней будут те же тряпки, те же бабы и диски, та же, но уже законная власть над слабым и безвольным обывателем и кое-что другое, что сейчас им еще не по зубам: загранка, закрытые курорты, закрытые лавочки, представительство, сановность и возможность раскроить мир ни за что, ни про что, как кроили черепа таксистов их недалекие несмышленые одногодки.

...И вот он стоит сейчас передо мною, не конченный еще, судя по заплывшим от слез глазам, беспомощной детскости страха и вины в голосе.

— Ну, будет, будет, — сказал я, смутившись и как бы оправдываясь перед парнем. — Это все, наверное, ошибка...

— Не ошибка. Я слышал, как он со своим кривоглазым Котей ржал, пожирая колбасу и запивая портвешок боржомчиком. Не ошибка. Я фамилию вашу, Давид Александрович, на ящике увидел. А то не знал бы, куда девать его. Не лягавым же в милицию тащить, — сказал торопливо мужичок, желая очевидно одного — быстрей покончить в выходной день со всем этим пакостным делом. — Говори, паразитина, ошибка или подлянка?

— Подлянка. Извините... мы и жрать-то не хотели... сыты были с Котей.. смотрим — ящим. Копченым пахнет и минералка тут же. Мне ее как раз врач от гастрита прописал, — увидев мое незлое лицо, забубнил парень.

— Вот я тебе и отобью носопыркалки, чтобы ты больше копченого не чуял! — мужичок забежал перед парнем, подскочил, он был низкорослым, хотел снова тыркнуть его в нос, но я помешал.

— Не надо, — говорю, — пустяки. Не надо. Бог с вами.

— Нет надо! Надо! Сегодня он копченое за три версты учуял, а завтра что почует? Золотое? — взревел отец верзилы. Гости звали меня из комнаты, с большим нетерпением.

— Вы правы, — сказал я беззлобно, — убивать их, гадов, следует еще до зачатья, но и прощать надо уметь. Прошу вас обоих ко мне на стопку. Там и поговорим. Если откажете — обижусь и кусок в горло не полезет. Прошу вас обоих. — Парень, не зная как ему быть, взглянул на отца.

— Иди рыло вымой, скотина, — сказал мужичок.

— Заходите, будем рады, — сказала Вера, и мы приняли еще двоих неожиданных гостей, не говоря никому о причине

их прихода. А когда на столе появилась буженина (колбасу Петя успел умять со своим Котей), сыр, шпроты, кильки, перец болгарский, паштет, аджика, горбуша и другие всякие вкусные вещи из Яшиной торговой точки, это было для всех так неожиданно и приятно, что мы с Верой таяли от удовольствия, что ублажили-таки старых приятелей. Петя же переживал. Не притворялся. Не ел и отказался выпить рюмку водки. Краснел. Смущался. Наконец что-то сказал на ухо отцу. Тот коротко ответил:

— Верно. Иди. Мать успокой. — И Петя ушел, неловко со всеми попрощавшись. Кто-то спросил, с чего у него нос расквашен и под фарой фингал. Я ответил, что парень боксом занимается, и на этом инцидент был окончен.

Если бы вы знали, дорогие, как мне было хорошо и приятно, что в нашу квартиру набилось в конце концов столько людей, что кое-кого похудощавей пришлось посадить по-двое. Особенно порадовали меня те, которых дергали в партком, запрещали поддерживать со мной отношения и участвовать в торжествах прощания с заводом. Они пришли, и я был рад. Очень рад. И было замечательно не помнить в те минуты о всесилье Жоржика, о шмонщиках, о моей бесконечной тоске одиночества и покинутости в тот миг, когда я не увидел на скамейке продуктов и о прочих дурных и благих переживаниях. Просто был праздник, казавшийся несбыточным, когда мне послышалась ирония в словах Скобликова «он скоро освободится», но чудом начавшийся и набиравший час от часу веселья.

Только не суждено ему было кончиться благополучно в свой срок, когда всем гостям, подвыпившим и слегка сорвавшим голоса старыми любимыми песнями, само собой становится ясно, что праздник кончился, пора сматывать удочки и лобызать на прощанье хозяев. Не суждено, хотя такого именно завершения злополучного и чудесного дня я не ожидал, вернее не предчувствовал, ибо невероятность случившегося не имела ни малейшего отношения к моей собственной судьбе...

Накурили мои дружки и Вова со своей женой, хоть колун вешай. Пришлось балконную дверь открыть и отдышаться на свежем воздухе от дыма.

Не знаю, что меня тогда дернуло пойти позвонить в квартиру соседа-стукача. Было какое-то движение души сделать что-то такое для себя необычное, чтобы оно ни

в какие ворота не лезло. Потом уж смекнул я, что переполняла меня благодарность Творцу и всем его ангелам за сегодняшнее избавление, за отсрочку от тюрьмы, за возможность устроить мои проводы на пенсию, и хотелось, просто подмывало, так хотелось отплатить тем, что я не только не считал себя способным, но плюнул бы сам себе в душу от одного лишь предположения, что могу когда-нибудь так поступить.

Сердце у меня колотилось от нахлынувших, может быть впервые в жизни, противоречивых чувств, а разбираться я в них не привык и, стоя перед дверью соседа-стукача, не решался позвонить, волновался, как маленький, еще секунда — и я прошмыгнул бы в свою квартиру к желанным гостям, но предчувствие того, как важно из самых святых побуждений решиться позвонить, настоятельно тянуло мою неимоверно тяжелую руку к звонку.

Звони, дурак, не стесняйся, звони, это трудно, почти невозможно, но ты звони, звони, ты ведь всю жизнь мечтал выкорчевывать зло и у тебя ничего не выходило, убеждал меня голос, у тебя не выходило, потому что ты рубал, когда приходилось, зло до корешков, а корешки-то хитрые невыкорчеванными оставались, и не в других людях, не в мире, а в самом тебе! Звони!

И я позвонил, позвонил, волнуясь, не вру вам, дорогие, и не преувеличиваю, как тогда, когда шел к отцу моей Веры просить разрешения взять ее в жены, или как в коридоре роддома, когда сходя с ума от страха и растущей радости, словно на пороге великой тайны, я ждал рождения первенца — Вовы, я стоял перед дверью, ужасаясь сходству своих нынешних чувств с прошлыми. Вы можете хохотать и считать меня идиотиной, но ничего мне не давалось с таким нечеловеческим, можно сказать, трудом, как тот звонок в дверь к ненавидимому мною соседу, которого я от омерзенья не человеком считал, а лишь тухлой мокрицей. И никогда еще я так страстно и вслепую не хотел превозмочь в себе что-то упрямое и темное, движимый в неизвестное наперекор всем привычкам и принципам, незнакомым душе повеленьем. И я позвонил в дверь.

Ее открыл он, зло и подозрительно (это был его обычный взгляд) забегав по мне глазами. Ведь его ко всему прочему, вы только представьте его состояние, бесило веселье за стеною, бесило дружеское людское общение, от которого он, совершен-

но справедливо презираемый, был давно отлучен, бесило застолье в доме человека, которого, судя по всему, еще пару часов назад должны были по всем правилам, он, я уверен, сладостно предвкушал это, принимать в бетонном боксе нашей городской тюрьмы.

— Ты, — говорю, — Валерий, ничем сейчас особенным не занят?

— А что?

— Оставим, — говорю спокойно, чувствуя ровность настроения и удивляясь, что страха и нерешительности у меня ни в одном глазу, — разные мысли, не будем ломать над нашей жизнью головы, пойдем посидим с нами. На пенсию ухожу. А мысли разные оставим. Чего уж там.

Он покраснел, потерялся, взгляд его стал туповатым, со стороны, наверно, мы оба были в тот момент похожи на двух пареньков, выясняющих отношения и смущающихся чувств более редких, чем озлобление и вражда.

— Можно и посидеть, — наконец сказал он неопределенно.

— Все свои там. Зинку зови. Места хватит, — сказал я, и мне было легко, словно два пуда с плеч сбросил, хотя слово «посидеть» неприятно резануло по нервам.

Не испортил, чего я побаивался, нашего застолья сосед. Освоился постепенно, а во мне погас тот непонятный порыв, и неудобно было перед Федором и заводскими дружками, что без их ведома я привел и посадил за стол того, кого даже начальство считало опасным подонком.

Кто-то чуть не сцепился с ним, но я взмолился.

— Братцы! Помилосердствуйте! Не будем качать права. Сегодня мой день.

Поняли ребята. Сосед хватанул сходу два стакана, чтобы сподручней было сидеть под взглядами, и уже окосевший порядочно, говорил мне на балконе:

— Ты, Давид, измудохал меня... как говорится... по справедливости... по справедливости... я дурею пьяный, но по справедливости... убить мало.. мало. Ты не бойся... не посадят... и ...и ... ходи куда хочешь... я больше следить не буду... сами пускай... следят...

Зинка увела его вскоре, и все вздохнули спокойней. Только Вера поняла, что происходило у меня в душе, а Федор сказал:

— Позвони еще Андропову. Мне есть с ним о чем

потрекать. Скажи спасибо, что твоего соседа с балкона не скинул. Жаль, что живешь ты больно низко. Чистый был бы несчастный случай.

— Нет, не чистый. Он ведь понятым был у меня, — засмеялся я и рассказал Федору свое предположение, что обыск дело рук Жоржика. Возмездие за неосторожную мою прямоту. — Черт бы ее побрал, — говорю, — разговорился козел на старости лет. Молчал бы себе в ноздрю. Теперь еще автобусы запретят давать. Переть на электричках в Москву придется. Кто виноват? Я. Я кругом виноват.

— Чего они нашли у тебя? — спросил Федор, и я не успел соврать. Наверху раздался чей-то чудовищный вой: «А-а-а!» Сообразить, почему он вдруг понесся вниз, прямо на нас с Федором, было в тот миг невозможно. Мы только успели поднять головы — поинтересоваться, кто это там завыл по-звериному, и воющая тень, пролетев в метрах четырех от балкона, шмякнулась с глухим хрустом, вой мгновенно оборвался, а сверху до нас донесся визгливый женский голос:

— Своо-олочь!.. Сво-олочь! Ты слышишь?

Густая листва заслоняла от нас упавшего. Мы с Федором первыми оказались возле него. Он по самую грудь торчал в пышной высокой, разбитой лично мной под нашими окнами, клумбе. Более ужасного и вместе с тем смешного положения тела погибшего человека я не видел даже за все годы войны, а повидать тогда пришлось не мало. Он словно врос в землю, наверно судорожная агония вытянула в струнки его ноги, и они на наших глазах начали заваливаться, пока совсем не завалились, образовав на клумбе жуткий мостик. Это было тело физкультурника, Таськиного мужа, моего понятого! Он нырнул в землю, как в воду, руки по швам, в скрюченных пальцах еще была последняя дрожь жизни.

— Готов, — сказал Федор, когда мы, не сговариваясь, выдернули упавшего из клумбы.

— Эй! Не трогайте его! — крикнули сверху, — сейчас милиция приедет.

Кричал мужчина, а из подъезда выбежала растрепанная Таська.

— Вот, Давид, — сказала она мне, — собаке собачья смерть! Бог шельму метит.

На этом происшествии тот день кончился. Кончился

вместе с ним и мой праздник. К нашим окнам сбежалась вся железная слободка. Люди глазели на лежавшего около клумбы физкультурника. Обсуждали ужасные подробности его преступления, самосуда над ним и казни. Они вытоптали цветы и траву в скверике и обломали кусты.

Вы никогда не догадаетесь, что натворил этот сонный на вид, безликий физкультурник, вернее, учитель физкультуры. Мне неприятно писать о нем, но я знаю, что если я вкратце не расскажу сейчас некоторые подробности, то вы забомбардируете меня письмами и вопросами. Я три дня не брался за перо. Вспомнил тот день, поездку в Москву, перепалку с Жоржиком, шмон, странное свое душевное состояние, приведшее чуть ли не к прощению соседа, который сейчас неприятен мне, как прежде, только нет к нему ненависти, застолье и падение Таськиного мужа в клумбу...

Милиция не приезжала часа полтора. Я сам звонил два раза в отделение и дежурный мне отвечал:

— Если труп мертв и убийцы ждут ареста, то спешить некуда. Важнее есть дела. Приедем.

Убийц было пятеро. Двое взрослых мужчин и трое юношей. Они и не думали убегать. Сидели у подъезда и курили. Отмахивались зло от пристававших с расспросами. О том, что случилось, стало известно из беспорядочной и нервной трепни Таськи. Не буду рассусоливать эту гнусную историю.

Так называемый учитель физкультуры растлил четырех девочек. Нет, он не насиловал их. Он обрабатывал каждую в своем закутке в физзале. Внушал, что, если мол, регулярно делать массаж, то он гарантирует способной девочке хорошую спортивную карьеру, зачисление в любой московский вуз, а там — чемпионаты Союза, Европы, Мира, Олимпийские игры, валютный магазин, заграничные шмотки, куча поклонников и так далее. И что вы думаете? Эти спортивные телки, которые во сне видели все, что им нагородил солидный, вежливый и добрый учитель, по очереди ходили к нему на массаж. Сначала массаж, а потом дело дошло до серьезных вещей.

Девица, забеременевшая первой, причем забеременевшая случайно, потому что учитель предусмотрительно пичкал всех четырех таблетками, рассказала обо всем матери. Когда ее стали дубасить чем попало, она совершенно резонно заявила, что не заметила, как все произошло,

ведь массаж был приятен и как будто усыплял. Массажировал учитель девиц совершенно голых. Конечно, им, дурам, это нравилось. Я сам засыпал в санатории на массаже. Кроме того девица сказала, что не она одна такая. С этого и началось. Собрались отцы совращенных признавшихся во всем четырнадцатилетних школьниц и их старшие братья. Двое решили обратиться в прокуратуру после экспертизы, а у остальных так болела душа за девочек, опозоренных и испорченных, что они явились к учителю, к педагогу, наставнику, к тренеру, к члену КПСС и бюро горкома партии, когда он собирался обедать с женой Таськой, не ведавшей, с кем изменяет ей вечно сонный муженек и поэтому не ловит мышей в кровати, — явились, вынесли приговор и скинули с девятого этажа. И чуял ведь он, чуял, змей, когда сидел на диване во время обыска, чуял, что надвигается на него неотвратимо беда, хотя не знал о признании девочек, хотя ничего вроде бы беду эту не предвещало.

Сопля́чки получали пятерки, жвачку, чувствовали себя взрослыми, и если бы не случайная беременность одной из них, все было бы шито-крыто. От учителя они перешли бы к парням, а дальше бы разобрались, что к чему. Возможно, одна из них стала бы знаменитой гимнасткой. У нас в стране гимнастику очень любят и уважают.

Чуял учитель, чуял, как поднимается над его головой колун, и подремывал, наверное, исключительно из желания не подавать никаких признаков жизни, авось беда пройдет стороной. Не прошла. Не обошла. Вот, собственно, и все.

Милиция приехала, наконец, и увезла в одном фургоне и убитого и убийц. Я их понимал тогда. Да и они сами не то, что не раскаивались, а наоборот — тот, который заявил всем, что именно он своими руками без посторонней помощи выкинул растлителя из окна, был доволен содеянным и уверял, что если бы все жители нашего рабского города, не доверяясь ленивой и продажной милиции, поступали так же решительно с ворьем, хулиганьем, насильниками и хамами, то намного была бы нормальней наша заячья жизнь.

День тот кончился смехом. Мой сосед-стукач, окосевший в драбадан (очень пьяный), залез на подоконник и орал, пытаясь вырвать ноги из рук жены Зинки:

— Виноват!... Обязательно виноват!... Пусти! Пусти! Смерть понятому! Давид, прости! ...Зинка! Убью!

Ему удалось-таки вырваться, наш этаж очень невысокий. Под хохот толпы, еще судачившей о происшедшем, Валерий спрыгнул вниз, на корточки, завалился в траву газона. Когда мы с Федором подошли к нему и стали щупать, не переломаны ли ноги, он замогильным голосом сказал:

— Давид.. прости... умирает ...очень ошибочный ччче-ловек...

«Ошибочный человек» остался дрыхнуть в траве на газоне, а мы с Федором проговорили всю ночь. Он настойчиво уламывал меня собрать все документы и подать на выезд вместе с Вовой. И снова тоска сжала душу. Ведь согласись я сейчас уехать, какие там к черту документы собирать и подавать, если у меня подписка о невыезде не то что из нашей самой демократической и свободной на свете страны, но из этого веселого города. Так я и сказал Федору, а про амбарную книгу скрыл. Врать не стал, как собирался, все же не те у нас были отношения, просто скрыл. Просил его больше не заикаться об отъезде, иначе я обижусь до конца моих и его дней.

Теплая тогда была ночь. Федор, по своему обыкновению, почитаемому мной, человеком невежественным, философски заметил:

— Все же ночи в принципе уютней и человечнее дней, потому что ночами большинство людей спит. Политруки спят, маршалы отдыхают от перекраивания карты мира; не дышит, сомкнув зловонную стальную пасть, вскормленное нами чудовище прогресса; уткнулись, как щенки, сбившись с ног, в железобетонную плоть, его несчастные заблудшие отцы и дети... Шмонщики твои, Давид, спят, сосед твой спит, а вот пестун девичий не спит, он уже отоспался... Скотина! Пойдем, Давид, выпьем за жизнь. Дрожь меня что-то внезапно пробрала от любви к ней.

— Пошли, — сказал я.

Вера и дети спали. Мы выпили на кухне. Поговорили о том, о сем. Федор как бывалый подследственный втолковывал мне, что нужно отвечать в одних случаях, что в других, и насчет процессуальных прав, чего я понять не смог, но сошлись мы на том, что скорей всего потрепят они мне нервишки по указанию Жоржика и отстанут. Анекдот ведь получится, если начнут раздувать дело о незаконных поездках группы лиц, под руководством агента сионизма Ланге, в город-герой Москву на государственном

транспорте, под маской посещения мавзолея Ленина, для вывоза продовольственных товаров, превышающих потребности каждого экскурсанта. Анекдот!

— А процессы бухаринцев не анекдот? — спросил я. — А твой процесс не анекдот?

— Это верно. Не отучила меня судьба наделять собственным здравым смыслом шизоидные головы наших больших и малых начальничков. Не научила. И не научит! Иначе эти параноики добьются, наконец, своего, и мы уподобимся им. Не уподобимся же, пока живы! Наливай! — сказал Федор, и мы, словно молодые люди, с аппетитом выпили и с удовольствием закусили. Ну, что мне стоило тогда рассказать Федору про амбарную тетрадь? Теперь кажется, что ничего не стоило. Рассказал бы, и мы чудесно обмозговали бы, как бросить Жоржика и начальника ОКГБ Карпова по-флотски. Безумный страх, что Федор пойдет доказывать, что записи сделаны с его слов, по его прямому указанию, и что я даже не понимал, о чем пишу, как человек простой и темный, помешал мне тогда рассказать про паскудную амбарную книгу. Только безумный страх. У нас ведь с фронта был и есть железный закон: сначала отмазывай друга, потом спасай себя. В общем, хрен ли говорить, лучше чаю заварить. Если бы... если бы... если бы... Никак я не отучу себя употреблять это бесполезное, поддразнивающее, высовывающее свой остренький язычок из прошлого «если бы»! Сейчас вот, собираясь лечь спать, чтобы завтра встать пораньше до начала упаковки шмуток одного уезжающего еврея, и продолжить это письмо, я сказал вам «если бы», а тогда, под утро уже, засыпая, я чувствовал себя умницей и молодцом и молил Бога об одном: чтобы Федор остался в стороне от моих дел, вдалеке от каши, заваренной мною и поэтому подлежащей быть так или иначе расхлебанной только мной одним. Только мной.

Забыл вам написать следующее. Таська к нам тогда позвонила в квартиру. Пустил я ее.

— Заснуть, — говорит, — не могу. Трясет, черти чудятся и обидно. Обидно, мужики, что сволочь эту не разогнала я десять лет назад. Сколько сладкого бабьего времени коту под тухлый зад полетело! А он девчонок на матах раскладывал! Массаж, гадюка, производил! Ну, не гад, скажите, не гад? Налей мне, Давид, спаси, плохо мне. Да его не один раз надо было швырнуть с верхотуры,

а двадцать! Швырять, потом обратно на лифте подымать и опять швырять, пока мокрого места от него, пса, не осталось бы. Собаке — собачья смерть... Хоть вы меня пожалейте... Вот как жисть идет! Целый день на обыске сидела, а вечером супруга выбросили в окошко... Ох, подлец! Девчонок ему не хватало, а я, что нехороша, скажите?

Заплакала Таська, горько заплакала, налили мы ей чистогончика, успокоили, как могли, рядом с Верой моей спать уложили. А мы с Федором вздремнули по-солдатски. Башка, слава Богу, не трещала: самогон был прекрасный, не то что казенная нынешняя водяра местного, да и московского производства.

ВЛАДИМИР ВОЙНОВИЧ

ЭТЮД

Я ПРОСНУЛСЯ среди ночи в неизвестном часу и долго всматривался во что-то смутное, белевшее передо мной, пытаясь определить, где я и кто я.

Чье-то шумное дыхание волнами наплывало слева, чье-то тихое отзывалось справа, я лежал, стараясь не шевелиться, смотрел на то, что белело передо мной, это был, видимо, потолок, да, похоже, что потолок, белый, с косо размазанными по нему тенями оконных рам.

Я скосил глаза влево: свет уличных фонарей сочился сквозь открытое наполовину окно, слабый ветер шевелил сдвинутые к краям занавески, шум прибоя накатывал волнами (значит, там, за окном, было море), я перевел взгляд направо и увидел, что рядом со мной лежит, посапывая во сне, какое-то существо с обнаженным плечом, какая-то женщина, может быть, даже моя жена, но, не помня, кто я, я не мог вспомнить, и кто она, как ее зовут, сколько ей лет, когда мы поженились и есть ли у нас с нею дети.

Что же это такое? — подумал я без тревоги. — Откуда я взялся здесь, как оказались вокруг меня этот потолок, это море и эта женщина, что было до этого и было ли что-нибудь?

Может быть, я только что родился, может, очнулся после наркоза, после реанимации, может, до этого я попал в катастрофу, у меня отняли руки-ноги и обрубок, называемый «Я», не имея памяти, ощущает только то, что сиюминутно воспринимают глаза и уши.

Я пошевелил одной рукой, затем другой. Руки были тяжелые, но важно, что они были. Были и ноги. Я видел,

слышал, двигал конечностями, значит, со мной все в порядке, я цел и невредим, единственное, чего мне сейчас не хватало — это сознания, кто я и где я.

Я закрыл глаза и попытался сосредоточиться.

В сознании что-то забрезжило...

...По дождливому морю мы плыли на каком-то кораблике, пили водку из граненых стаканов, ловили рыбу на «самодур», то есть голыми крючками без всякой приманки, пили, жарили на берегу барана, купались, пили, шел дождь и какая-то женщина возбужденно меня вопрошала: «Владимир, почему вы не уезжаете?»

Сейчас, лежа с закрытыми глазами, я вспомнил ее слова и удивился, если можно назвать удивлением то вялое чувство, которое во мне возникло. Почему она задала мне этот странный вопрос? Разве я не уехал мальчиком из Петербурга, разве не ютился в берлинской мансарде, страдая от холода, голода, безвестности и унижений, пробавляясь шахматными сеансами, уроками игры в теннис, и не я ли ловил бабочек в штате Вайоминг? Куда же мне ехать еще?

Бабочки, теннис, шахматы были связаны одной ниточкой, стоило потянуть за один конец, как я сразу все вспомнил и сразу себя осознал: я старый человек, у меня все болит, я кое-что сделал в жизни, но зачем, скажите, зачем я написал Лолиту?

Эта мысль явилась ко мне неожиданно. Она меня озадачила, она меня растревожила; кажется, я никогда не жалел, что написал Лолиту, и даже считал ее своей лучшей книгой, но сейчас мне стало ужасно не по себе, я понял, что это не лучшая, это плохая книга, худшая не только из моих, но и из всех когда-либо написанных книг. Мне стало больно, и я заплакал.

Каждый, кто когда-нибудь о чем-нибудь думал, знает, что мы не всегда, я бы даже сказал, очень редко думаем словами. Мы думаем образами, ощущениями, представлениями, которые затем более или менее беспомощно пытаемся выразить словами. Мыслить и выражать свои мысли далеко не одно и то же. Я думаю, многие гении остались человечеству не известны только потому, что не сумели выразить свои мысли ясно, то есть столь примитивно, чтобы они стали доступны другим.

Я лежал неподвижно и плакал беззвучно, слезы из-под

полуприкрытых век текли по щекам, к подбородку, но, не дойдя до него, скатывались на шею. Я плакал и думал, что написал Лолиту, чтобы потрафить читателю, его больному и извращенному вкусу, потому что мне надоело бедствовать, мне захотелось известности и денег, которые за нее платят, и независимости, которую на них покупают.

Для многих Лолита оказалась полной неожиданностью, критики, застигнутые врасплох, сначала не отзывались, не зная как реагировать, потом накинулись все сразу, одни превозносили, другие ругали, я с радостью воспринимал и то и другое: хорошо, когда хвалят, неплохо, когда ругают, хуже, когда молчат.

Кто-то из критиков назвал меня хулиганом, я был доволен, потому что литература, если хотите знать, есть вид хулиганства. Хулиган на улице привлекает к себе внимание тем, что шокирует общественное мнение и общественную мораль, то же делает в книге писатель, который хочет привлечь внимание к себе или к тому, что он хочет сказать.

С помощью Лолиты мне удалось прорвать блокаду непризнания или, точнее, полупризнания, признания в среде знатоков и эстетов, которые, когда вас им представляют, делают умильные лица и говорят: «О!»

Да, в мире знатоков и эстетов меня знали, знали прекрасно, для знатоков было даже престижно быть лично со мною знакомыми, в моей малой известности для всякого знатока был даже свой особенный шарм, знаток потому и слывет знатоком, что знает известное не всем, а лишь узкому кругу ценителей, так сказать, литературной элите.

Лолита принесла мне известность, деньги, и знатоки были разочарованы. Я нужен был им полунищим, в их представлении истинный художник и должен быть полунищим, если не нищим вовсе, по их романтическим представлениям он должен петь, как птичка, не заботясь о хлебе насущном, он должен им доставлять удовольствие, пользуясь их малой благотворительностью и ничтожными их подачками, сопровождаемыми благодушным хлопаньем по плечу: «Ладно, когда-нибудь разбогатеешь, отдашь» (надеясь, что никогда не разбогатеешь, никогда не отдашь и всегда будешь жить в ощущении своего неоплатного долга).

Потрясенные моим вероломством, знатоки поносили Лолиту в своих элитарных кругах, находя в ней много непристойности и мало художества, они сами не отдавали

себе отчета, что на самом деле недовольны не непристойностями и не малой художественностью, а тем, что я как бы изменил особому клану, как бы не оправдал надежд, и теперь им для того, чтобы по-прежнему слыть знатоками, надо искать мне замену, а это не так-то просто.

Я перестал плакать, открыл глаза. В комнате стало светлее, перекрестья теней от окна сползли с потолка на дальнюю стену. Стали видны отдельные предметы: спинка стула, с повешенным на него полотенцем, и кусок зеркала, отражавшего угол стоявшего дальше шкафа.

В комнату проникали все новые звуки: торопливый стук каблуков, шуршанье метлы по асфальту, отдаленный гул самолета.

Вдруг в соседней комнате что-то зашипело, как шипит на сковородке яичница, потом сквозь шипенье пробился звон колоколов на башне... Биг-Бен? Нет, Биг-Бен, это, кажется, в Лондоне, а здесь... Где здесь? Что здесь? Лион? Дижон? Монте-Карло? Женева?..

...Раздражающе громко грянула музыка, которую лет пятнадцать исполняли без слов, подбирали новые, не подобрали, скроили что-то из старых.

И сразу сознание прояснилось, все стало на свои места: я не в Лионе и не в Дижоне, никогда я не играл в теннис, не ловил бабочек в штате Вайоминг. И Лолиту писал не я. Я не так уж и стар и лежу рядом со своею женой в сочинской гостинице у Черного моря. Срок нашего пребывания здесь кончается, скоро мы вернемся в Москву, я засяду за стол сочинять что-нибудь длинное или короткое и кроме всего прочего запишу этот бред, возникший у меня от того, что я пил водку, как в молодости, гранеными стаканами и был уже сильно пьян, когда какая-то женщина (Алла? Неля? Леля?) возбужденно меня вопрошала: «Владимир, почему вы не уезжаете? Неужели вы думаете здесь что-нибудь изменить?» И я, помнится, наклонился к ней и, с трудом ворочая языком, обещал, что как только выйдем на берег, я обязательно что-нибудь или все изменю.

Сочи, 1979 — Stockdorf, 1981

ИВАН ЕЛАГИН

ЗАМЕНИТЕЛЬ

Фантазия в двух картинах

В доме:

Доктор
Жена доктора
Ассистент
Служанка
Приезжий профессор
Полицейский чиновник

Вне дома:

Молочник
Газетчик
Почтальон

На сцене не
появляются

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Гостиная, по-буржуазному обставленная. Налево от зрителей — окно и входная дверь, ведущая через садик на улицу. Прямо — дверь в кухню. Справа — лестница на второй этаж, где находится кабинет доктора и спальни. Сумерки.

Служанка (глядя в окно):	Приехал! Вылезает из такси. С пакетами, видать с аэродрома.
Жена доктора:	Ступай навстречу. В дом его проси.
Доктор:	К чему спешить? Он знает номер дома. Фамилия на двери, на виду. Профессор сам отыщет к нам дорогу.
Служанка:	Ах!
Жена доктора:	Что случилось?
Служанка:	Он упал в саду, И встать не может, покалечил ногу.
Жена доктора:	Пойдем ему поможем. (Уходит со служанкой).
Доктор:	Черт возьми! Какая неприятность! Вот досада! Не оберешься с ним теперь возни, А мне делами заниматься надо. Уж если ты беспомощный старик, То с палкой бы ходил по крайней мере.
Профессор (входит, опираясь на женщин):	Слетал с материка на материк, А поскользнулся в двух шагах от двери. Пожалуйста, подвиньте ближе стул, Мне тяжело малейшее усилье; Наверное, споткнувшись, растянул, А может быть порвал я сухожилье.
Доктор (подвигая стул):	Вы оказали мне большую честь, Мне ваши изысканья очень близки, И ваши книги.
Жена доктора:	Вы хотите есть? Для поддержанья сил немного виски?
Профессор:	Благодарю. Я пообедал в шесть. (Доктору): Я представлял себе по переписке Вас вовсе не таким, какой вы есть!..
Доктор:	Но если человек от вас далек, Нельзя вообразить его заране, До встречи.
Профессор:	Я признаться бы прилег.
Жена доктора:	А мы вам тут постелим на диване.

Доктор: Я ногу вашу осмотреть хочу.

Профессор: Ах как болит! Компресс поставить, что ли?
А впрочем вам виднее как врачу.

Доктор: Я что-нибудь вам впрысну против боли.

(Уходит).

Служанка (помогая профессору пересесть на диван): Прикажете подать с лимоном чай,
Или хороший крепкий черный кофе?

Профессор (сам себе): Все беды происходят невзначай,
Никто не подготовлен к катастрофе!..

Жена доктора: Не огорчайтесь, это все пустяк.

Профессор: Да, чай с лимоном. Сладкий чай с лимоном.

Жена доктора: Вы отдохнете. Вы у нас в гостях.
Ну, не сидите с видом сокрушенным,
Приободритесь!

(Входит доктор с подносиком, на котором шприц).

Доктор: Сделаем укол
Вам болеутоляющего. Сразу
Утихнет боль.

(Ощупывает ногу профессора).

Жена доктора (служанке): Сюда подвинь-ка стол,
И вот сюда поставь с цветами вазу.

Доктор: Нигде я переломов не нашел.
Как видно, растяжение простое.
А это — не страшнейшая из бед,
И весь секрет лечения — в покое.

(Делает укол).

Профессор: А в шахматы играете вы?

Доктор: Нет.
По-моему, ненужное занятье.

Профессор: Игра ума! Фантазия! Расчет!

Доктор: Не стану даже времени терять я.

Жена доктора: Муж слабостей людских не признает.

Профессор: Лежать и ничего не делать — тяжко.
Игра меня немного б развлекла.

Служанка: Хотите, я сыграю с вами в шашки?

(взглянув на строгое лицо доктора):

После того, как кончу все дела.

Профессор: Вот это распрекрасная идея!
Благодарю вас ото всей души.
Когда мы, от лежания дурея,
Томимся, то все игры хороши.

Доктор: Ну вот, а я заняться должен делом,
И потому не для меня игра.
Полдня почти без пользы пролетело,
И взяться мне за опыты пора.
Я вам писал, что я в моей работе
Предшественников выводы отверг.
Когда вы совершенно отдохнете,
Поправитесь, то мы пойдем наверх
В мой кабинет: я покажу вам опыт
Решающий, который подтвердит
Теорию мою.

Жена доктора: Ваш чай не допит,
И вы совсем не тронули бисквит.

Доктор: Спокойной ночи.

Профессор: Я усну не скоро.

Доктор: Уснете.

(Уходит).

Жена доктора: Чай остыл уже совсем.

Профессор: Я позабыл о нем за разговором.
Я чай допью, и я печенье съем.
И, чтоб от мыслей отвязаться нудных,
Сыграю в шашки, как допью чаек.

Жена доктора: Немного позже, после дел посудных:
Мой муж педант, и он с прислугой
строг.

Профессор: А вы?

Жена доктора: Я мужу — противоположность,
И это создает, конечно, сложность.

Профессор: О противоположностях молва

Твердит, что хоть во всем они не схожи,
А сходятся легко.

Жена доктора: Молва права,
Но расходиться им нетрудно тоже.

(Уходит в кухню).

Профессор (один): Предчувствовал давно я неудачу,
Но не такой позорнейший провал.
Я думал, что я мир переиначу,
Я думал, что я чудо создавал.
Обычный дом. И муж с женою в доме.
Приветлива жена, а муж суров.
Муж лишних слов не произносит — кроме
Полезных и необходимых слов.
Игру он презирает. Строг с прислугой.
Не потакает слабостям людским.
Приходится, наверно, очень туго
Всем тем, кто должен сталкиваться с ним.
Вне дома, в хирургической больнице,
Наверное приносит пользу он.
И, может быть, ему сейчас не спится, —
В теории свои он погружен.
В теории... И я был теоретик,
А что осталось от теорий этих?

(Слышен звук шагов наверху).

Он, кажется, идет сюда, а мне
Не до бесед. Своей бедой я занят.
Я притворюсь, что я в глубоком сне,
И он со мною говорить не станет.

(По лестнице спускается ассистент доктора).

Ассистент: Приезжий спит. Устал с дороги он.
Приятно спать после дороги длинной.
Наверное, десятый видит сон.
Свет не потушен? Никого в гостиной?

(Входит из кухни жена доктора).

Жена доктора: Уходите?

(Укрывает профессора, мешает угли кочергой в камине).

Ассистент: Пора идти домой.

Жена доктора: О чем вы разговаривали с мужем?

Ассистент: О том, что в клетках ткани жировой
Мы, может быть, бациллу обнаружим
Заболеванья.

Жена доктора: Делает он вид,
Что ничего не знает?

Ассистент: Все как было:
Он в меру вежлив, в меру деловит...
Не знаю, — это слабость или сила.
Он, может быть, страдает?

Жена доктора: Нет, не та
Натура. Верьте, это мы страдаем,
А он ни в чем нам с вами не чета.

Ассистент: Вы думаете, он непробиваем?

Жена доктора: А что ему? Он знает, что он прав,
Он видит все со стороны законной.
Он действует, все точно рассчитав,
Как механизм отлично заведенный.

Ассистент: Так что ж мне делать?

Жена доктора: Увезти меня.

Ассистент: Вот так как есть? Без всякой
подготовки?

Жена доктора: Ах, лучше жизнь без завтрашнего дня,
Чем эта жизнь в аптечной дозировке!

Ассистент: Вы что-нибудь возьмете?

Жена доктора: Ничего.
Лишь сумочку. Пойдем. Уже стемнело.

(Уходят).

Профессор: И женщина уходит от него.
Напрасно я затеял это дело.

(Медленно, с трудом подымается с дивана, ковыляя, подходит к камину, берет кочергу, и, опираясь на нее, подымается по лестнице).

Занавес.

КАРТИНА ВТОРАЯ

Та же гостиная. Полицейский чиновник говорит по телефону.

Чиновник:
Рассказ служанки чрезвычайно скуп.
Уборкою занявшись на рассвете,
Она наткнулась на хозяйский труп,
Стирая пыль в хозяйском кабинете.
Убийство. Никаких сомнений в том.
Труп сразу освидетельствован мною.
Большой проделан в черепе пролом
Тяжелою чугунной кочергою.
Жена исчезла. Ассистент исчез.
Еще старик приезжий спал тут в доме.
Те пойманы. Пытались сесть в экспресс.
Старик задержан на аэродроме.
С молочником уже я говорил,
Газетчика спросил и почтальона.
Все говорят, что врач был очень мил,
Всем кланялся, и знал всех поименно,
Что он солиден был не по летам,
Что был уравновешенным, степенным,
Платил он аккуратно по счетам,
Во всем был образцовым
джентельменом.
Мне кажется, что ясен тут вопрос.
Я вовсе не предвижу осложненья.
Да, да: на месте учиним допрос
И выясним картину преступленья.

(Кладет трубку).

Позвать служанку!

(Входит служанка).

Ну-с, у вас в лице
Не замечаю я следов потери?

Служанка:
Не плакать же как о родном отце.

Чиновник:
Но опечальтесь хоть по крайней мере!

Служанка:
Ну вот еще! Ни сват он мне, ни брат,
И он мне был несимпатичен даже.

Чиновник:
Он обнаружил денег недохват,
В полицию писал он о пропаже,
Писал, что вас подозревает в краже.

Служанка: Не стал бы он людей винить сплеча,
Когда бы человеком был приличным.

Чиновник: А, может, вы ухлопали врача
В тот миг, когда он вас накрыл
с поличным?
Мы обыск учиним, и шанс велик,
Что доберемся мы и до улик!
Обшарим все от крыши до подвала,
Но свет прольем на здешние дела.

Служанка: Я признаюсь. Я кое-что взяла,
Но я... я никого не убивала.

Чиновник: Вот так-то лучше. Воровство раскрыв,
Возможно, и убийство мы раскроем.
И сам собою вскроется нарыв,
Когда нальется до отказа гноем!
Скажите, доктор очень был ревнив?
А может быть он прибегал к побоям?
Не потому ль, все бросив, все забыв,
Жена сбежала со своим героем?

Служанка: Откуда знать мне, ревновал ли он?
Он был от нас стеною отделен.
Со всеми вел себя хозяин наш,
Как будто он на все крючки застегнут.
Возьми, — казалось, — обвались этаж —
Ресницы у него при том не дрогнут.
Такие не испытывают мук,
Хоть целый мир перед глазами рухни.
Он прослезился раз. Стоял на кухне
В тот миг, когда я резала там лук.

Чиновник: Идите. Но я вас предупреждаю:
Еще вы не разделались со мной.

(Служанка уходит).

Ну, а теперь копнем с другого краю,
И по душам поговорим с женой.

(Подходит к дверям, делает знак.
Входит жена доктора).

Чиновник: Я слышал, вы собрались
в дальний путь.
Нельзя ль узнать, куда?

Жена доктора: Куда-нибудь.

Чиновник: Но я не понимаю, почему же
Бежать поспешно в дождь,
ненастье, мглу?

Жена доктора: Вчера решила я оставить мужа.

Чиновник: Оставили лежащим на полу?

Жена доктора: Я об убийстве ничего не знала.
Когда я уходила, он был жив.

Чиновник: Ваш муж вниманья уделял вам мало,
Иль мало денег, или был ревнив?
Иль с вами обращался он жестоко?
Вы чем-то недовольны были им.
Какая-то должна быть подоплека,
Чтоб бросить мужа мертвым...
иль живым.

Жена доктора: По-правде, в нем особого изъяна
Душевного не замечала я.
Хоть вам об этом слышать будет
странно,
Но жить с ним было все-таки нельзя.
Теперь я, трезво обо всем помыслив,
Совсем не вижу в нем порочных черт.
Он не был ни коварен, ни завистлив,
Ни своенравен, ни жестокосерд, —
Но чувствовала с ним я постоянно
Вокруг какой-то воздух нелюдской,
Как будто бы на дне я океана,
И тонны надо мной воды морской.

Чиновник: А тут еще и ассистент учтивый
Удачно подвернулся на пути,
И захотели, видимо, уйти вы
К нему?

Жена доктора: Куда-то надо же уйти.

Чиновник: Ушли, и без прощального скандала
Под занавес?

Жена доктора: А для чего скандал?
Перед уходом даже не видала
Я мужа.

Чиновник: Верно друг ваш повидал?

Жена доктора: Он с мужем делом занят был научным.

В гостиную ко мне сошел потом.
Казалось в доме все благополучным,
Когда вдвоем оставили мы дом.

Чиновник: А может быть и не было в помине
Научных дел? А шел совсем другой
Там разговор?...

Жена доктора: Я, уходя, в камине
Мешала этой самой кочергой,
Которую наверх унес убийца, —
Наверх унес и не принес назад.
Чего ж вам боле, чтобы убедиться
В том, что мой друг ни в чем
не виноват...
Но тут вчера профессор спал приезжий:
Он навести на след вас мог бы свежий.

Чиновник: Возьму его теперь я за бока;
Хоть и не жду решительных открытий,
Но попрошу. Идите и скажите,
Чтобы ко мне прислали старика.

(Жена доктора уходит.
Появляется профессор с палкой).

Профессор: Послушайте, тут радоваться надо!
Зачем у вас такой печальный взгляд?
Супруга рада, и служанка рада,
И ассистент, конечно, тоже рад.
Был доктор — а потом его не стало,
И ни одна душа о том нимало
Не сетует. Что голову ломать?

Чиновник: Могли быть у врача отец и мать,
Они навряд ли рады.

Профессор: В том-то дело,
Что метрика его не без пробела:
Родители в ней вовсе не стоят.
Он существо особенного сорта:
Его отец — белковый препарат,
А мать его — стеклянная реторта.

Чиновник: Убийство — драма, а не карнавал,
Шутить об этом непристойно даже!

Профессор: Ах, никого никто не убивал:

Мы разговор ведем о демонтаже.
Ученый, скажем, опыт проверял
И поломал негодный матерьял.
Не надо выражаться слишком громко.
Зачем — убийство? Правильней —
поломка.

Чиновник: Простите, вы об опыте каком?
И о каком, простите, матерьяле?
По-правде, с этим мало я знаком;
Хочу, чтоб вы мне больше рассказали.

Профессор: Поверите, — я молод был когда-то,
И заключенье сделал впопыхах,
Что человек — вместилище разврата
И весь погряз в пороках и грехах.
Но если человека изготовить
Научным, синтетическим путем —
Решительно не будет ничего ведь
Порочного, наследственного в нем!
И я осуществил мою затею.
И через тридцать лет встречаюсь с нею.
Стоит передо мной мое созданье.
Смотрю: мой человек мещански-мал.
В такое я пришел негодованье,
Что взял — и кочергой его сломал.

Чиновник: Он тоже был, по вашему, порочен?

Профессор: Нет, доктор добродетелен был очень.

Чиновник: Но, если не порочен, для чего же
Затылок пробивать ему насквозь?

Профессор (как бы отвечая на собственный вопрос): Нет, в нем не оказалось искры Божьей,
И потому сломать его пришлось!...

(Машет безнадежно рукой и медленно уходит).

Чиновник: Еще вопросов много нерешенных.
Но мы отложим следствие пока.
Необходимо в дом умалишенных
Немедленно отправить старика.

«...Изобретательная сила, тонкая наблюдательность, завидная зрительная память, знание того, что описывает автор, таковы отличительные черты лучших рассказов Андрея Седых».

М. АЛДАНОВ

ВЛАДИМИР МАКСИМОВ

ЧАША ЯРОСТИ

(Глава из романа)

И СНОВА, в который уже раз на его веку перед ним раскинулось море. Оно поплескивало за окном отведенного Владу номера — холодное, белесое в серой дымке по горизонту, совсем непохожее на те, что привелось ему видеть до сих пор. Берег тоже оказался под стать льнущей к нему воде — спокойный и тусклый с уютными дачами в сосновых борах по всей излучине. Снаружи в номер по утрам веяло волглой тишиной, замешанной на запахе хвои и гниющих водорослей. Кругом было сонно, глухо, безветренно.

В Дуболты Влад явился не один. Дня за три до отъезда он, походя заглянув к своему приятелю — скульптору, с которым незадолго до этого познакомился, между двумя рюмками уговорил того махнуть сюда вместе с ним, поработать вдалеке от городской суеты, а заодно и проветриться.

Помнится, едва войдя в первый раз к тому в мастерскую, Влад был смят, ошарашен, ошеломлен прежде всего количеством теснившихся здесь работ и размахом заложенной в них мощи. Выросши на литературе и живя только ею, Влад, по правде говоря, долгое время оставался глух и незряч к иному искусству, но очутившись среди разновеликих фигур и слепков, казалось, самим своим существованием образующих вокруг себя поле высокого напряжения, он вдруг остро почувствовал, что немые изваяния способны так же, как и слово, кричать, светиться и кровоточить, воссоздавая гармонию из разрушения и распада.

(Придет время, он пристрастится и к музыке, услышав

однажды говорящую человеческим языком виолончель великого Ростроповича: уймитесь, волнения страсти!).

Посидев с утра над рисунками, художник где-то к полудню шумно вламывался к нему и принимался фонтанировать в бесконечном монологе. Видно, в непривычной для себя комнатной пустоте, вне круга немотного хоровода своих творений тот, словно рыба, выброшенная на песок, пытался высвободить изнутри разъедающий ему душу ядовитый воздух вынужденного безделья:

— Понимаешь, старик, все что ты видел до сих пор из моего, это, можно сказать, пробы, опыты, заготовки, этюды к целому, моя мечта поставить древо жизни — историю человечества в металле и камне, на века поставить, чтобы и через тысячу лет не состарилось. — Бесцельное, вразвалочку кружение гостя по комнате не вязалось с выношенной определенностью, исходившей от него речи, будто в эти минуты он лишь проговаривал вслух издавна отстоявшиеся в нем слова, а сам уже жил какой-то другой мыслью или мукой, которая изводила, будоражила в нем сейчас его горячечное воображение. — Только разве наши тит титычи номенклатурные дадут поставить такое! Им мухинских монстров с квадратными челюстями подавай, весом побольше, размером поздоровей, на эту бездарную херню им денег не жалко, сколько ни потратишь, еще дадут, а вот додуматься сделать свою жлобскую идею красивой, одухотворить ее изнутри умом и талантом, хотя бы чужим, на это у них даже капли серого вещества не хватает. — Он вдруг, как бы наконец закрепив в себе ускользавшее от него до сих пор состояние, остановился и, глядя куда-то поверх Влада, снисходительно обмяк. — Впрочем, может быть, они и правы: их идея живет не красотой, а силой... Айда на пленэр, Влад, знающие люди говорят, что тут есть разгуляться где на воле...

Сквозь сизые сумерки, вдоль дачного штакетника, мимо мачтовых рощ, их несло от одних злачных огней до других в обманчивой легкости хмельного загула. Ямщик, не гони лошадей!

В пестром разломе летучей яви взбухшее от вина и ярости лицо владова спутника неизменно маячило перед ним, взыскующе впиваясь в него угольными, без проблеска памяти глазами:

— Понимаешь, старик, — снова и снова заводил тот, будто бредил или раздумывал вслух, — я еду в чужом поезде, на свой я опоздал ровно на триста лет или даже немного боль-

ше. Мои подлинные попутчики это Данте, Микеланджело, Рафаэль, Сервантес, а судьба-проводница спьяну или со зла сунула меня в купе к Евтушенке с Глазуновым и двумя командировочными жлобами впридачу, хоть одеколон с ними пей, хоть в козла забивай, хоть иди в клозет и удавись от тоски к чертовой матери!..

Тот не мог, не умел, не хотел говорить просто так, между прочим, обо всем понемногу. О чем бы тот ни рассказывал, чего бы ему ни вспоминалось, его не столько интересовала тема разговора, событие или сюжет, сколько их скрытый от него, но возможный смысл. Выговариваясь, он словно бы разгадывал вслух какую-то одну и ту же, постоянно изводившую его тайну: как, зачем, почему?

— Легкая рука была у маразматика Горького, запустил старик ханыгам от искусства ежа за пазуху — социалистический реализм, задал им работу и прокормление на сто лет вперед. Сколько уже томов написано, сколько следственных протоколов на Лубянке заведено, сколько крови человеческой пролито из-за этой мудни, а ведь все проще простого. Нету никакого такого соцреализма, как метода, есть соцреализм, как идеологический стереотип. Если ты напишешь, к примеру, колхозницу, у которой в руках будет одна картофелина, то будь ты хоть суперреалистом, тебя обвинят в формализме, а вот если ты напишешь ее с мешком картошки, а лучше с двумя, то в какой бы манере ты ни работал, можешь даже в абстрактной, все равно тебе Государственная премия обеспечена. Вон Шостакович назвал свою лучшую симфонию «Тысяча девятьсот пятый год» и «Правда» мочится под себя горячим кипятком от восторга и ей нет никакого дела до того, что это о вечности, о смерти, о распаде, главное, что творец соглашается заключить свою личную муку в багетную раму идеологии, а на остальное им наплевать; народ симфоний не слушает, народ слушает радио и читает газеты и заключает: Шостакович — наш человек, соцреалист, идейно выдержанный художник. Я, должен тебе сказать, начинал подсобником у Меркулова, Царство ему Небесное, вот уж на кого наши талмудисты из МОСХа, как на икону до сих пор молятся, в соцреалистические святцы золотыми буквами поспешили записать, а он такой же соцреалист, как Кафка в литературе, он всю жизнь только и делал, что издевался над ними их собственными средствами, по всей стране понаставил памятников их убожеству, которые не переживали самих себя, в нем, если хочешь знать, больше

мистики, чем во всех наших вшивых новаторах вместе взятых!

В другой раз он вспоминал:

— Знаешь, ко мне однажды сам Сартр заявился. «Давно, — говорит, — хотел с вами познакомиться, давайте, — говорит, — побеседуем». «О чем же, — говорю, — господин Сартр, может, о смысле жизни?» «Нет, — говорит, — уже все обговорено, давайте лучше о конфликте между капитализмом и социализмом, как основной проблеме современности». И, веришь, начинает мне рассказывать об ужасах эксплуатации человека человеком, отчуждении и преимуществах социализма. Долго говорил, красиво, переводчица еле за ним успевала. Послушал, послушал я его и говорю: «Дорогой, — говорю, — господин Жан-Поль Сартр, все, что вы мне сообщаете, это прямо-таки захватывающе интересно, но, к сожалению, я не имею возможности эмпирически проверить ваши доводы, меня даже в Югославию не хотят пускать, хотя я там Первую премию получил на Международном конкурсе, а уж о капиталистической стране мне и мечтать не приходится, потому что, по законам зрелого социализма, там советскому человеку просто делать нечего. Выходит, — говорю, — вам со мной дискутировать по этому вопросу все равно, что с советским зеком-двадцатипятилетником о преимуществах гомосексуализма в сравнении с традиционной половой жизнью. Ведь он за свой срок только тем и занимался, что петухов в очко харил, а женщин видел лишь в кино: согласитесь, что прежде чем с ним о разнице говорить, ему надо дать для опыта попробовать женщину». Обиделся, уехал. Переводчица, кстати сказать, после него беременной осталась. Этому бы недоумку в школе для дефективных до старости доучиваться, а он, поди ж ты, в стране Руссо и Вольтера великим философом считается...

Так же, как их встречи — от разговора к разговору — двигался и владов роман. Едва ли даже эту попытку связать воедино клубок разнохарактерных историй и судеб, заключив их в жесткую схему полуфантастической ситуации, можно было назвать романом. Скорее, вещь разрасталась в некую весьма расплывчатую мозаику, которая сама по себе уже исключала сколько-нибудь гармоническое целое. Ее горизонтальная полифония стелилась по плоскости явлений, не проникая в их глубину и не поднимая их над собой.

Но в том взвинченном состоянии, в каком он теперь

находился, только такая книга, может быть, и могла разрядить в нем копившуюся годами гремучую смесь человеческой разноголосицы. Поэтому он лихорадочно вытягивал из себя или из окружающего все, что помнил, знал, слышал, видел и о чем лишь догадывался. Только потом, спустя годы, перечитывая написанное, его осенило, что в ту пору он, хотя и безуспешно, пытался написать историю своей души, изъеденной химерами снов и предчувствий.

«Всякий человек есть сам по себе запись всей земной истории. В нас с вами записано все: охота на мамонтов и восточная клинопись, тайны пирамид и Библия, откровения французской кухни и теория относительности. Все, буквально все, зашифровано в наших генах. Надо лишь подобрать ключик к этому шифру. И тогда окажется, что мы с вами не только встречались, но и находимся, так сказать, в родстве, фигурально, разумеется... Не смейтесь, у нас у всех один праотец — Адам. К сожалению, а, может быть, к счастью, ключик этот спрятан весьма надежно. Иначе бы на земле от пророков проходу бы не стало. Заставь тогда кого-нибудь работать! Кое-кому, правда, удается огромным усилием воли и ума вскрыть в себе частичку-другую. В результате, на свете появляется Магомет или Бах, или еще что-либо стоящее. А мы с вами, мой друг, можем только догадываться, догадываться и уповать. Да, да, догадываться и уповать! Иной раз провидение балует нашу память мимолетным фрагментом из давно минувшего, и мы начинаем томиться духом и скорбеть. И все, и ничего более. Никто не может прочесть всего, никто. Никому, никому не дано заполучить ключик».

В последний их вечер в Дуболтах они подались в Ригу. Сусальный грим, наведенный на нее в центре ради извлечения из легковерных туристов денежных излишков, а главное, дефицитной валюты, едва скрывал тлен и запустение, источавшее эту пряничную старину изнутри. Но город все же оставался неповторимым и в этом своем подкрашенном увядании, излучая вовне атмосферу ностальгической праздничности.

В первом же кафе друзья, начав с невинного сухого, вскоре вошли во вкус и, перекачивая от порога к порогу, наконец потеряли счет выпитому в разных дозах и смешаниях.

Где-то к ночи, в одном из ресторанчиков старого города,

прямо против Влада возникло неожиданно курносое, со смеющимися ямочками на щеках лицо знакомой цыганки Тани, молоденькой официантки из Дуболт, которая, держа его ладонь перед собой, водила по ней наманикюренным ноготком:

— Ждет тебя, сероглазый, дальняя дорога с бубновой дамой и большие хлопоты, а детишек у тебя будет двое и проживешь ты пятьдесят три года и ни днем больше, да так далеко, что от дома не видать...

Затем на ее месте появлялся уже остекленевший от хмеля скульптор, скрипел зубами, рычал в пространство перед собой:

— Слышишь, пришел я к нему, а он меня на «ты», представляешь! Ну я ему и выложил все, что я о нем думаю. «Слушай, — говорю, — меня, рвань вологодская, я с тобой свиней не пас и церквей курочить не ходил, у меня отец уральский золотопромышленник, а мать — интеллигентка в третьем поколении, у меня две огнестрельных и одна осколочная, меня Манцу своим учителем считает, а Ренато Гуттузо у меня руки при свидетелях целовал, а ты мне «тыкаешь»? Тут он мне, слышишь, начинает мозги пудрить: я, мол, помощник Косыгина и все такое прочее. «Да плевать мне, — говорю, — на твоего Косыгина и на тебя вместе с ним, я с вами всеми не только говорить, с.... рядом на одном поле не сяду!»...

Свет и тени скрещивались в сознании Влада, и мир вокруг него, словно в обманчивом свете зеркального фонаря, исходил цветовыми пятнами. «Только бы не свалиться, — судорожно цеплялся он за попадавшиеся ему под руку углы и плоскости, — только бы не свалиться!»

К себе они возвращались под утро. Таксист — средних лет толстяк в сдвинутой набекрень кепке, глядя на них в зеркальце над собой, понимающе посмеивался, балагурил:

— Верно вам говорю, ребята, человеку на веку ведро спермы отпущено, ни капли больше, ни капли меньше, хочешь враз спусти, хочешь на всю жизнь растягивай. Вот я, к слову, в молодости порастратился, сейчас жалею. Подцепил я тут по случаю одну, молоденькая совсем, только-только школу кончила, девочка, честно скажу, что надо. Закрутил было на всю катушку, потом вижу, не тяну, выдыхаюсь. Сами понимаете, жене палку надо бросить? Надо. А с молодой и одной палкой не обойдешься, две-три

требуется, как минимум. Пришлось белый флаг выбросить, сдаться на милость жены, сами понимаете, из одного на двоих не выкроишь...

Под перекрестными взглядами топтавшейся внизу обслуги, друзья, самоотверженно подпирая друг друга, пересекли вестибюль, но в ожидании лифта замешкались, и тут Влад услышал у себя за спиной довольно отчетливый полушепот с едва уловимым акцентом в произношении:

— Русские свиньи и на чужой земле напиваются, как у себя в московском свинарнике.

Словно от удара хлыста вдоль позвоночника Влад обернулся, перехватив на повороте две усмешки взаимопонимания, какими обменялись, стоявший у вахтерского стола директор Дома Бауман и щеголеватый, в белесой поросли латыш с депутатским флажком на лацкане импортного пиджака. Кровь яростно бросилась ему в голову и он двинулся на них в почти слепом исступлении:

— Слушай ты, гнусная гадина, я же тебя знаю, ты — Цирулис, рвань с местной Лубянки. Ты такой же латыш, как я — эфиоп, ты по национальности и профессии — негодяй. Я — русский, твой поработитель, в тысячу раз талантливее, умнее, честнее тебя, а живу в своей империи, как нелюбимая собака, не имею ни кола, ни двора и не знаю, чем буду жить завтра, а у тебя, порабощенного — русская машина с русским шофером, русская домработница стирает твои затруханные кальсоны и русский дворник подметает за тобой твою вонючую грязь. Может быть, ты мне скажешь, угнетенный Цирулис, за какие заслуги тебе причитается эта сладкая жизнь? — Влад намотал его галстук на руку и притянул обессилевшего от страха латыша к себе. — Или, если хочешь, полюбуйся на своего приятеля Баумана, он тоже считает себя евреем, угнетенным евреем, но великий еврейский поэт Овсей Дриз живет у него в самом захудалом номере, а бездарный русский Баруздин в самом роскошном. И потом, с какой это стати его, еврея, здесь директором поставили? Что, русского империалиста на это теплое место не нашлось? Оглянись вокруг себя, гнусный Цирулис, русские империалистки по его указанию здесь клозеты чистят и полы моют. Может быть, сообщить тебе, почему это происходит? Да потому, мерзавец, что он такой же еврей, как ты — латыш. Вы все — банда, у вас нет национальности, как нет национальности у крыс и шакалов и висеть вам всем на одной перекладине, ты меня

понял, Цирулис?

Влад с силой оттолкнул того от себя и, более не оборачиваясь, двинулся к лифту в робком сопровождении жалобно причитавшей у него позади вахтерши:

— Ну, зачем вы так! Они начальство — им виднее, ничего ведь не добьетесь, только себя растравляете, побереглись бы лучше, вам еще жить да жить, плетью обуха не перешибешь...

Утром Влад еще нашел в себе силы закончить страничку и поставить заключительную точку:

«Первые озаренные восходом облака оторвались от горизонта и плавно двинулись к зениту. Цвет их, по мере движения, менялся: розовый переходил в золотистый, затем иссиня-белый и, наконец, в голубой. Нанизываясь одно на другое, они мало-помалу обретали контуры туго заполненных ветром парусов. Голубые паруса с каждым мгновением становились все ближе и ближе, и Борис с благодарным замиранием сердца почувствовал, как в нем томительно закипают чистые слезы встречи и торжества:

— Слава, слава Тебе, Господи, за то, что Ты породил меня и спас!»

В лифте он оказался вместе с двумя отпускниками, из тех, кому сдавались пустовавшие зимой номера. Их тяжелый спуск вниз окрыляло предвкушение близкой опохмелки:

— С чего начнем, Вася?

— А с пивка, Федя, с пивка.

— Отлакировать бы надо, Вася.

— А шаньпаньским, Федя, шаньпаньским...

Этот короткий, но весьма содержательный диалог так и остался его последним воспоминанием о Дуболтах.

Как-то в разговоре с Паустовским Влад поделился с ним своим новым замыслом, на что тот, выслушав гостя, поинтересовался:

— Послушайте, дружок, а что с той задумкой, о которой вы мне рассказывали в прошлый раз?

Влад растерялся:

— Знаете, Константин Георгиевич, я берегу ее до лучших времен, сейчас ведь все равно не пройдет.

— А вы так уверены, — добродушно усмехнулся старик, — что доживете хотя бы до следующей минуты?

С тех пор, заканчивая очередную вещь, Влад жил ежесекундным ощущением приближения неминуемой гибели.

МИХАИЛ МОРГУЛИС

ДВА РАССКАЗА

СОН В ЛЕТНИЙ ДЕНЬ

— Дочка, — сказал он, — мне приснился страшный сон, мне приснилось, что ты стала взрослой, ты впрыгиваешь в автомобиль своего волосатого друга, в твоих глазах плавают туманы тайны, и ты уже не любишь меня. Руки твои перестали быть теми маленькими, с обкусанными ногтями, которые прикасались к моим щекам и давали мне новые надежды — они стали узкими, с длинными пальцами, с ногтями, покрытыми фиолетовым лаком. Да, да, дочка, это был страшный сон, не пели на деревьях птицы, не было никакого солнца и рук твоих маленьких жизнь не прикасалась к небритым моим щекам.

— Папа, — спросила дочка, — почему ты во сне шевелишь губами?

— Потому что мне приснилось страшное, — ответил он, резко оттолкнул от себя остатки еще бродившего вокруг него сна, и свесил голову с гамака. Внизу стояла она. Ее ровный проборчик, всегда приводивший его в умиление, представлялся тропинкой, ведущей в ее мир, где время от времени высовываются из-под кустов гномы, прыгают ласковые собаки и ходят молчаливые принцессы с печальными глазами.

Ее глаза, как зеленые стеклышки, собравшие солнечные искры, смотрели на него. Ржаные косички возились, толкались, взлетали, падали, ссорились и мирились вокруг ее круглой головенки.

— Господи, Господи! — бормотал он, слезая с гамака, — дай чуть меньше ее любить, ой, прости, не слушай меня, Господи...

Они сели за стол на дворе и стали пить сладкую воду, которую здесь называют содой. «Но ведь сода соленая», — всегда недоумевал он.

— Знаешь, папа, Глория такая глупая, она говорит, что китаец Джимми влюбился в меня... Ты знаешь, она бы́ла у меня на день рождения...

— Не бы́ла, а была́, не на день рождения, а на дне рождения...

— Да, была́, была́, была́, ты помнишь ее, да, Глорию?..

— Ну еще бы, я хорошо помню Глорию, вы все вокруг нее вертелись, она показывала вам помаду, которую, уверен, на один день сперла у матери...

— Ты сказал: сперла?

— Да, права, права, она взяла у матери, но учти, она взяла ее так, что если б ее мать-испанка узнала об этом, то наговорила бы много более худших слов, чем это простое русское слово, которое я произнес и которое тебе не понравилось...

Огромная муха, почуяв сладкое, не успев от жадности затормозить, с разгона ткнулась в бутыль кока-колы.

— Ой! — закричала девочка и отбежала от стола. Он отогнал муху, потом сделал вид, что поймал ее и вбросил себе в рот. И стал медленно двигать челюстью, как бы жуя.

— Перестань! — закричала девочка, — не то я сейчас вырву...

— Нет, ничего, — сказал он — только вот соли маловато... — но видя, что перегнул, заговорил уже без шутейства, — ну что ж ты, с тобой и шутить опасно...

Они взялись за руки и вышли за ворота. Снова он держал ее за эту руку, маленькую, с обкусанными ногтями, мягкую, как листик из почки.

— А ты не можешь остаться такой, не становиться старше?

— Зачем? — удивилась она и посмотрела на него так, что сердце его чуть не остановилось.

— Ну как зачем. Ну вот послушай сон, который мне приснился.

И он рассказал ей, как она впрыгивает в автомобиль, какие у нее длинные фиолетовые ногти.

— Ну вот, — повторял он, — ну вот...

Он увидел ее глаза наливающиеся слезами, как крошечные зеленые от травы лесные ямки, быстро наполняющиеся после дождя. Он обнял ее, уткнулся в ее голову, и так они простояли несколько минут.

— Я не буду такой никогда, я буду любить тебя всегда...

Они пошли дальше, поднялись на холм — там густо росли кусты, трава излучала слабую горечь, воздух жужжал, на желтых головках цветов украшениями сидели разноцветные бабочки.

— В России желтый цвет означает измену. Женщинам там не дарят желтых цветов. А здесь про это не знают... Хозяин цветочного магазина в русском районе никак не мог понять, почему у него не покупают желтые цветы. Когда я ему объяснил, он на полчаса открыл рот, он, наверное, думал, что мы должны больше не любить красный цвет...

Кузнечики здесь не были пугливыми, они спокойно ждали пока палец касался их металлических спинок, и лишь тогда мощно прыгали.

— Расскажи мне что-нибудь, только не надо про лошадку-шоколадку, я уже не маленькая...

— Да, — сказал он, — десять лет — это уже возраст. Моцарт в этом возрасте... Ну, ладно, хочешь про Россию?

— Да, это интересно...

— Ну, вот, мы ходили на «жабу», так называлась летняя танцплощадка на Владимирской горке в Киеве. Чего ты улыбаешься?

— Владимир — это имя, а горка — Владимирская....

— Почему ты не хохочешь, когда проезжаешь по мосту Вашингтона, ты ведь ездишь не по президенту, а по мосту с его именем...

— Да, я просто привыкла к «Вашингтон бридж» и к «Линкольн тоннел», я забыла, что их назвали по людям...

— Не по людям, а в честь людей...

— Продолжай, пожалуйста, дальше, не нервничай, ты такой у нас вспыльчивый... Ее смешило это слово «вспыльчивый», и она засмеялась. Она тихо смеялась, как будто дождик где-то цокал по крышам маленькими серебряными копытцами, а иногда ее смех сочно выбрызгивался, как сок от спелых абрикосов, и сладко и легко вылетал на воздух

и плыл в его сердце, просто тихо плыл... И он вначале замер, а потом стал смеяться вместе с ней от счастья, что слышит этот смех, от замечательных прыгающих кузнечиков, от обманных желтых цветочков, от всего этого он долго смеялся...

— Ну вот, на этой «жабе» я и мой друг Вилька влюбились в красавицу Зойку. У этой Зойки были цыганские глаза, а ресницы почти до самого пола, от нее пахло духами, от которых кружилась голова. За ней «бегала» вся танцплощадка. Но Вилька, хитрый Вилька, сказал ей, что я поэт и напишу о ней стихи. Этого никто не выдерживает, и она ушла с нами. Уходить нам приходилось тайно, но и то кто-то успел смазать Вильке по уху. А потом мы пришли к Вильке домой. Вилькина мама была на дежурстве. А когда Зойка села за расстроенное пианино, стала что-то наяривать и зыркать на нас глазищами, тут мы вообще пропали. Но это не все, она хрипловато и «очень страдая» запела про молодого летчика: «Друзья шутить над ним хотели и написали письмецо: «Она не любит, она не любит, она не любит уж тебя!» Ну что ж, не любит, так и не надо, зато же я ее люблю, а что мне стоит подняться выше и сделать мертвую петлю. Друзья узнали, похоронили, пропеллер был вместо креста, но часто, часто на той могиле рыдала бедная она!» Тут мы с Вилькой совсем чуть было не свихнулись...

Чего ты плачешь, неужели эта дурацкая песня может вызвать слезы?.. Ну что ты, что ты...

Прозрачные эллипсы на мгновенье зависали на нежном крае розовой щеки и навечно улетали в траву.

— А почему ты был там без мамы?

— Эй, эй, не смеши меня так, золото мое, хани мой или мое: мне тогда было 16 лет, а нашу маму еще отлучали от горшка и готовили к школе. Ладно, я объясню тебе логичней и проще: я ее еще тогда не знал, и ко всему мы не были еще женаты... А теперь слушай дальше... Зойка влюбленно смотрела то на меня, то на Вильку, выходила с нами по очереди на балкон, я помню там душно пахло акацией, и мы целовались...

— По очереди?

— Да, но я тогда не знал, что она целуется и с Вилькой, иначе мне было бы, возможно, противно... Но не в Зойке суть. Мы забыли, что пришла она со своей двоюродной

сестрой Валей, неприглядной, ну это значит не то чтобы некрасивая, а не выделяющаяся, не привлекающая внимание... И вот эта Валя долго сидела одна, а потом громко сказала: «Какие же вы дураки!» Но я успел увидеть, как печально блеснули ее синие глаза. И она пошла вниз. Я, слегка пометавшись, поколебавшись, пошел вслед. Мы шли по такой тихой улице, как будто кто сказал ей: «замри!» У Вали была тонкая мальчишеская фигура, а глаза продолжали грустно блестеть, когда она взглядывала на небо. Она подобрала ветку и стучала ею о стволы деревьев. Потом спросила:

— А какие же вы стихи хотели сочинить про Зойку?

— А я не знаю... Наверное, про музыку...

— И про любовь, — добавила она и засмеялась невесело, — Зойку все любят, она так умеет всех нас обманывать...

Я не выдержал, говорю: «И она еще красивая...»

— Это правда, — говорит Валя, — ну а какие другие стихи у вас уже написаны?

Я стал читать: «Черт его знает, черт его знает, девочка нежные письма мне пишет, черт его знает, черт его знает, девочка любит, девочка ждет. Я понимаю поэтов непризнанных, пулю в висок, пулю в висок, все разлетится к чертовой матери!»..

— А по правде, вам пишут такие письма?

— Нет, — признался я, — никто мне такие письма не пишет. И тут глаза ее первый раз засветились не совсем печально.

— А хотите, я буду вам писать письма, я ведь живу в Донецке... А не слышали ли вы когда-нибудь такое стихотворение: «В тот день всю тебя, от гребенки до ног, Как трагик в провинции драму Шекспирову, Носил я с собою и знал назубок, Шатался по городу и репетировал...»

— Нет, — сказал я пораженный чем-то. А кто его написал?

— Я прочитала в тетради у брата, но я думаю, что это не его... Это кто-то очень другой...

— «Шекспирову», — сказала дочка, это наверное, Ше́кспир...

— Да, — сказал он тяжело вздохнув, — Ше́кспир — это Шекспир, которого перевел потом на русский язык человек, написавший эти строчки... Его звали Пастернак...

— Ну, а потом что?

— Ну что потом, когда мы расставались, я ее поцеловал... Это было всего один раз... Ее губы, как и глаза, были печальными... Извини, что я тебе морочу... Да, а потом мы действительно несколько лет переписывались... Ее письма всегда были очень грустные и очень добрые...

— Ты думаешь, она любила тебя?

— Я думаю, что да, — на расстоянии вообще любить легко... А потом, однажды, после долгого перерыва, она написала, что вышла замуж, родила двух мальчиков, и они умерли потом от воспаления легких... Муж ее еще бил...

Косички яростно заметались, наполненные слезами зеленые стеклышки глаз более чем укоризненно смотрели на него...

— Что ж ты не спас ее?!

— Я не знал, как спасать... Мне было тогда всего 18 лет... Но все-таки я написал ей: брось все, приезжай ко мне, но она отказалась, она ответила: «значит это моя судьба»...

— Так ты ее любил или не любил?

— Нет, я ее никогда не любил...

Девочка сорвала несколько желтых цветков и стала неумело их сплетать. Солнце высветило возле ее маленького носа несколько веснушек, таких крошечных, рыжих и трогательных, что он опять чуть не задохнулся от нежности.

— Ну, а где Зойка, которая вас влюбляла?

— Зойка кружила головы всем, все из-за нее дрались, Вилька часто ходил с «фонарями», а потом, когда я уже был совсем старым, мне было лет 25, я встретил ее в трамвае, она была с кучей детей и мужем-капитаном. Зойка стала толстой крашеной блондинкой с наглыми глазами. Когда я выходил, то услышал, как она сказала капитану: «Он меня обожал, посвятил мне сотни стихов...»

— А ведь они сестры были... — сказала девочка и отбросила неполучившийся венок.

Солнце стало совсем уж припекать, как будто кто-то направил на них увеличительное стекло.

— Пойдем, — сказал он, — мы уже можем двинуть к бассейну...

Они стали спускаться с холма. На руку девочки села божья коровка, она блестела, вымытая утренней росой, и была в сарафане с малюсенькими черными горошинками на красном фоне. Они стали петь: «Божья коровка, улети на небо, там твои детки кушают котлетки, всем раздают,

а тебе не дают..»

Как и положено, божья коровка взмыла в небо к своим эгоистичным деткам.

Они пошли дальше, он крепко держал ее за руку, как-будто опасался чего-то находящегося за этим золотым днем, за летящим пухом облаков под синим шаром неба, за звуками жизни из карликовых джунглей травы, за розовыми млеющими кустами, за этим, так быстро проходящим днем жизни.

ЗЕМЛИ ВОЛШЕБНЫЕ МЕСТА

Однажды фиолетовым вечером я ухватился за уходящее солнце и повис над землей. Медленно плыл я над землей, и солнце освещало мне все, что происходило внизу. Но нигде не хотелось мне спрыгивать. Потому и было так тошно на душе — ведь всегда так, когда не можешь найти себе на земле место. Но вдруг, я увидел дворик, вроде знакомый, зачирикало у меня сердце воробьем, и спрыгнул я в этот дворик. Смотрю — правда, знакомый двор, только почему он мне знаком, вспомнить не могу. А тут вижу: девочка ко мне идет, идет и говорит: «Мальчик, ты что, новенький сосед?» Я засмеялся: «Как смешно ты шутишь, девочка, мне 37 лет, а ты называешь меня мальчиком...» Теперь уж девочка очень засмеялась мне в ответ и дает мне круглое зеркальце. Я глянул, а там — я, но только совсем маленький, лет 9 мне, нет моей черной бороды, только чубчик и глаза, как зернышки кофейные.

— Не пугайся мальчик, — говорит девочка, — это такой двор у нас, где все снова становятся детьми. Вот я тоже, кажется, была толстой тетей, а решила побывать в этом дворе и стала девочкой. А ты не разучился свистеть?

Я заложил пальцы в рот, вначале шипение получилось, но зато, когда я вспомнил, как надо делать, свист получился разбойничий, звонкий. И на этот свист высыпало много мальчиков и девочек. Один из них, толстый, подбежал и сразу щелкнул меня по лбу. Тут я его сразу узнал,

это был Ленька-жирный, страшный забияка. И он меня узнал и запел: «Мишка-кишка подавился книжкой!» А я в ответ закричал: «Толстый, жирный — поезд пассажирный!» И меня сразу все узнали, и я всех сразу узнал. А вот Вальку-Шницеля, дружка, все никак не вижу. А тут Верка-цыганка вроде поняла, кого я ищу и говорит: «А ты разве не помнишь, ведь Валька свалился с крыши, когда вы с ним голубей ловили. В больнице он и умер, а ты разве не помнишь?» Тут я все вспомнил, посмотрел на крышу трехэтажного дома, а там Валька сидит, палец к губам приставил и манит меня. Я незаметно подошел ближе, а он свесился с крыши вниз и кричит: «Привет, Мишка!» А я ему кричу: «Шницель, ты бы осторожней, а то упадешь!» А он смеется: «Не бойся, Мишка, я ведь уже умер, я уж никогда больше не упаду. Лучше мне расскажи историю, ту, что ты нам когда-то придумывал и рассказывал. Давай, а то мне скоро на небо». И стал я рассказывать Шницелю историю про рыжего капитана Фуруна и девушку Антишань, об их приключениях на острове двухголовых людоедов и про их быстрый парусник под названием «Окровавленная стрела». А Валька слушал счастливо закрыв глаза.

А потом он пропал, и меня снова окружили все ребята. И тут я узнал и девочку, что первой встретила меня, — это была Тоня, и я в нее сразу снова влюбился. Тут Бебка, которая любила всех очкариков, вскочила на скамейку и закричала: «Давайте играть в «мушкетеров и пиратов»! Мы разделились, я был мушкетер, а Тоня, которая была у нас санитаркой, рисовала мне углем усы. И все мальчики-«мушкетеры» рисовали себе усы, а все мальчики-пираты завязывали себе тряпками один глаз. А Ленька-жирный не мог найти себе тряпку и перевязал глаз своим чулком. А другой Ленька, Леня — из подвала, стал смеяться из-за этого и Ленька-жирный полез в драку с ним. Они дрались, а Леньки-жирного чулок упал с его глаза в грязь и они катались по нему. Тут Тоня посмотрела на меня своими зелеными самоцветами и говорит: «А ты бы смог их разборонить?» А я ее так любил, что вместо ответа прыгнул на двух Ленек и стал кататься с ними, а сверху стали сыпаться на нас и остальные ребята, и получилась куча-мала.

А после все вырезали себе тополиные палки-шпаги и стали на них драться. А еще перед этим мы, мушкетеры, написали на старом сарае белой краской «штап» и поклялись

друг другу в верности до гробовой доски. А когда закончились наши бесконечные дуэли, мы все помчались на Днепр, т. е. к берегу Днепра. А там в просмоленной лодочке плавал Аким Иванович, старичок, который прожил до 114 лет и в любом возрасте любил щипать женщин. Эта часть берега называлась Спасской пристанью. Мы долго плавали и ныряли, пока синие пупырышки — «гусиная кожа»— не покрывали нас, и мы, обхватив себя руками, выскакивали на берег. Днепр был серо-синий, по берегам стояли дебаркадеры, где жили люди и сушилось жалкое послевоенное белье, проходили маленькие грязные катера «утюги», слышалась усталая ругань, где-то плакал ребенок, Аким Иванович сидел бороденкой к воде и ждал пассажиров, чтоб перевезти их на другой берег реки.

Потом мы побежали к товарным вагонам, стоящим на запасных путях. В них было зерно, и миллионы голодных воробьев дежурили бессменно в этом месте. Мы пролезли под вагонами и накрали зерна пшеницы и потом вкусно и по-волчьемолодому хрустя, ели их. А потом уже был вечер и мы догуливали день снова во дворе, где акации дразнили весь мир своим запахом, мы ели их белые цветы, и этот вкус мне запомнится на всю жизнь. Скоро позовут нас матери. Мы уже были в парадном и бросали вверх зажженые спички и пугали друг друга страшными историями. После мы еще поиграли в жмурки. Я стоял возле стены с зажмуренными глазами и считал: «Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать, кто не заховался — я не виноват. Кто за мной стоит — тот в огне горит!» Я всех искал, а те, кто уже выбыли из игры, орали: «Яблоко сиди, груша выходи!» А когда я нашел Тоню, мы побежали с ней наперегонки к стене, но она упала, подвернув ногу. Я склонился над ней, увидел ее пронзенные болью зеленые глаза и первый раз в жизни мне захотелось поцеловать еще кого-то, кроме родителей. Странно, когда я попал во двор, мне и Тоне было только по 9 лет, а к концу дня стало уже где-то по 12. И Тоня шла прихрамывая, а я шел рядом и глухо говорил срывающимся голосом: «Когда я вырасту, то если ты хочешь, я поженюсь на тебе и стану моряком...» И когда мы попрощались, она вдруг, пахну́в акацией, чмокнула меня в щеку и убежала. А мир сразу перевернулся и загудел малиновым пламенем. Я шел, держа себя за эту щеку, пока не натолкнулся на Леньку-жирного. Он сказал:

«У меня на крыше сарая спрятана пачка «туберкулезных палочек». Пойдем «смалить!» Так мы называли тоненькие и дешевые папиросы «Ракета». Мы залезли на сарай и накурились до одури в голове. Ленька сказал: «А я видел, ты с Тонькой целовался...» Я уж хотел лезть драться и мы б наверное скатились с сарая, но Ленька грустно добавил: «а меня завтра Славка будет сильно бить...» Славка — это старший брат Леньки, он вор и голубятник. «Я у него украл его краденую колбасу...» И тогда не стертый Тонин поцелуй произнес моим голосом: «Не бойся, скажи ему, что это я украл, а я подтвержу...»

Ленька закашлялся: «Так ведь он и тебя побьет...»

— Меня он побьет не очень сильно, потому что не братьев бьют меньше...

Мы уже немного разбирались в жизни, и я знал, что говорю. А Ленька тоненько сказал: «Быть мне гадом, если я не буду твоим другом до гробовой доски!»

Да, почти все так и было: Славка побил меня не сильно, но Ленька был плохим другом, он искал друзей только тогда, когда было трудно ему, а не его друзьям.

И потом день стал окончательно скатываться за горизонт, я был уже во дворе один, солнца оставалось только маленький краешек, я понял, что надо уходить и схватился за розовый выступ солнца. И вновь помчался над землей. Мимо плыли облака, как мои надежды, синей грустью была охвачена душа и ласточки ловили на лету мои слезы. Но теперь я знал, что на земле есть такое место, где ты когда-то, ухватившись ручонками за поручни, стал вылезать на заплеванную палубу жизни. И в это место должна, взмахнув усталыми крыльями, опускаться для отдыха твоя душа. Это двор, где осталось твое детство.

ЛЕОНИД РЖЕВСКИЙ

ЗАДУМЧИВЫЙ СТАРИКАН

ЭТОТ ПАМЯТНИК Гарибальди надо было бы выкупать в бассейне напротив — до того замурцован он птичьим пометом. Какой-то вчуже обидный торчит из него контраст между гордым рывком руки, наполовину выдернувшей из ножен шпагу, и голубиными на плечах и голове посиделками. Впрочем, контрастов в Вашингтонском сквере было хоть отбавляй, да и воду в бассейн не напускали — малолетняя шантрапа копошилась там всухомятку, а вокруг шло коловерчение шантрапы молодежной — скеттинг-ринг.

Я листал «Тайм» впритык к цоколю итальянского героя, когда какая-то шалая челка на роликах, не удержавшись, налетела на мою скамью, как таран, — я подпрыгнул от толчка и внезапности. Девчонка, должно быть, ушиблась и, вместо извинения, зажав колени ладонями, выдохнула сквозь зубы кондовое российское: «Ах, ... твою мать!»

Подкатил тут же и напарник ее с рыжим пухом на месте бороды и усов, сложился рядом на корточки:

— Чего ты?

— Я кажется расшибла коленки, Вить...

— Покажи-ка!

Она принялась засучивать узкие джинсы. Краем глаза я разглядел поперечный пунцовый шрамик, набрякший по краям кровью. На другом колене была только ссадина.

— Надо бы перевязать.

— Сойдет и так. А вообще-то мне что-то не тямтит, как говорят картежники. Звонила сегодня в Москву маме — и никак... А когда дали, оказалось: нет дома, смылась

куда-то...

Они говорили еще с минуту. Она — с тем возродившимся среди теперешних москвичек аканьем, какое, помнится, было у замоскворецких просвирен и поварих. Голос у нее был зычный, но приятный, с нервическими бемолями.

— Что ж, покатим?

— Кати один, Вить. Оказалось, что я вдобавок еще и нездорова.

— Когда это оказалось?

— Сейчас. Ты что, не понимаешь, о чем я говорю?

— Ладно, сиди тут, с лопухом этим (кивок на меня), бай-бай!

— Почему «лопух», Вить? Совсем безобидный задумчивый старикан. И вдруг понимает по-русски? — было ведь уж так раз...

— Хрена он понимает. Ариведерчи!

— А я действительно понимаю! — сказал я, чуть подождав, и она обернулась на меня в прищур:

— Не удивили! Сидело во мне такое подозрение.

— А заговорил с вами сейчас, чтобы предложить пластырь, заклеить коленку, случайно есть у меня. Хотите?

— Что ж, может и стоит. Давайте сюда!.. — она очень проворно на этот раз подсучила штанину, ладонью смахнула кровь. — Здорово, все! — сказала, повозившись немного. — Спасибо!

И, помолчав:

— Вы что, всегда выходите на прогулку с пластырем?

— Купил утром и еще не успел донести до дому. Пригодился, как видите.

— Обратно спасибо. Меня зовут Маша. А вас?

Я сказал.

— Я студентка, оттуда (она кивнула на университетское здание за деревьями).

— Я оттуда тоже.

— Профессор?

Я объяснил, и глаза под челкой распахнулись на меня сиенской землей, подсвеченной изнутри вдруг вспыхнувшим любопытством.

— Вы старый эмигрант?

— Не молодой.

— Я же не о возрасте, а — из какой волны?

— Задумчивый старикан из второй.

— Извиняюсь за старикана, а задумчивый вы, пожалуй, и есть.

— Нашей волне много пришлось задумываться.

— Нам, третьим, думаете, меньше?

— Что за вопрос! Сравните сами: драка за визы и драка за жизнь. Самая трагическая волна эмиграции.

— Факты!

— Факты вашему поколению неизвестны, понятно, а для нас страшная это была пора. Как выжить на самом краешке гибели? И не сойти с ума. Факты? Ну вот, к примеру, один: слышал, сказали вы только что вашему пареньку, что звонили маме в Москву. А моя мать умерла в сорок восьмом в Москве же, так и не узнавши, что я остался в живых. Нельзя было известить, гибельно могло оказаться для нее. А я — единственный сын...

— Ладно, — кивнула она, подумав. — Один-ноль в вашу пользу. Давайте дальше!

— Что у вас за спорт? Теннис?

— Корзинка. Баскет-бол, то есть. Но не отвлекайтесь, не отвлекайтесь, пожалуйста!

Отвлечься, однако, пришлось... Р-р-р-ы... р-р-р-ы... р-р-р-ы... Мы и не заметили, что напарник ее уже дважды прокатывал мимо нас, делая ей размашистые сигналы.

— Ты что, Вить?.. Вить! — крикнула она ему (да, зычный был у нее голосок) — Не слышит! Съеду, приведу его сюда. Подождите минутку. Непременно хочу продолжать нашу тему.

Я прождал минут десять под хлопанье крыльев и воркоток голубей на зазеленевшем Гарибальди. Дискуссия с «лопухом» парня видимо не привлекала.

Потом я пошел домой.

Было много «фактов» — историй, которые Задумчивый Старикан мог бы рассказать Маше, попадись она снова ему на глаза. Но этого не случилось, да и к чему было тянуть волынку прошлого перед ее раскатывающим на роликах «сегодня»? И тем не менее он ворошил в завалах памяти пережитое за десятки лет — ненастные встречи, горькие жалобы, пропащие жизни, словно бы продолжая дискуссию о том, к которой эмигрантской волне была жесточе судьба. И бормотал про себя, словно бы сидючи рядом с парой светящихся из-под челки глаз, которые слушали это бормотанье то недоверчиво, то поощрительно как аргумент. Например:

ГОДЫ ПЯТИДЕСЯТЫЕ: РАЗЛУЧЕННЫЕ

В чеховском рассказе извозчик Иона Потапов, у которого умер сын, мучительно переживает потерю, одиночество и равнодушие дворников и седоков. В конце концов, как известно, выкладывает переполнившее его горе лошаденке. Та «жует, слушает и дышит на руки своего хозяина».

Это «кому повем печаль мою?» — чувствительнейшее звено в нутряной тоске по родине, обуревающей иных земляков за рубежом. Вероятные смерти близких, за недоступностью справок, переживают они, может быть, по многу раз. И одиночество. И чужой быт и ландшафт. Знакомых фонарей, заштрихованных мокрым снегом на зимних синеватых улицах, как у петербургского извозчика, нет вокруг. Чужие вокруг фонари. «Понимаете, лес — и тот по линейке высажен», — жаловался мне в Баварии один согбенный тоскою земляк. «Идешь — и того гляди жандарм на просеке станет движение регулировать... Полянку бы найти, присесть-перекурить — полянки нету. С кем душу отвести — обратно нету. Немцу одному — вместе цельный год на стройке вкалывали — поплакался раз, пива ихнего натянувшись, насчет дома, своих, живы ли... «А ты, говорит, варум не напишешь?»...

Да, нет иной раз и четвероногого, который бы жевал, дышал и слушал.

Тоскуют впрочем и с четвероногими. В той же Баварии знал одного «перемещенного», еще молодого, из-под Орла. Был он хозяином пары лошадей и занимался извозом. Духа был ищущего, любил побеседовать умственно и вдохновлялся баптизмом: всегда за пазухой с Библией, и когда я вытаскивал сигарету, говорил с амвонными интонациями: «Вы раб своей страсти. Зачем отравляете себя и других?» Этот всегда бодрился и под зарубежное свое бытие подводил духовную базу. «Я здесь вполне в закономерности, по воле Божьей. Каждый день, вставая, молюсь: «Спасибо Тебе, Господи, что унес меня из той окаянной страны». Скуки не ведаю, нет!» Однажды, помню, под осень, лихо подкатил он мне на своих караковых кубометр дров по коммунальной разверстке. Помог выгрузить, сложить, а потом сели мы на скамеечку перед моим домом. Дом был за околицей, почти в поле — жнивье кругом, последние вечерние ласточки и недалеко лес. Под этот пейзаж заговорили мы о рыбалке,

когда я спросил его, не любитель ли? «Да где ж здесь?.. Разрешение, анкеты, да почему ауслендер?.. Одно озеро тут — и то все позагорожено, там нельзя — частная собственность, там — участок в аренде, там — сами рыбаки, либо лодочники, толчея, мотоциклы. Вода нарядная, сквозит вся, а что толку? Рыба издали тебя видит и вроде тоже сперва документ спрашивает. У нас я ловил, на Оке. Под выходной, бывало, к сумеркам, когда она к берегу льнет полусонная, как человек к койке. Тишь... Рыба на снизке бултыхнется, дергач зыкнет... Костерик заложишь небольшой, чтобы только маленько пламечка и дымок кудерком. Ах ты, Боже мой, Боже! Нигде так вольно не думалось!»

Я вспомнил его «тоски не ведаю» и, посмотрев сбоку, увидел влажный глаз. Тут же он спохватился и перевел разговор на Библию, книгу Иова...

* * *

Что нельзя ничего узнать о своих, написать им, без страха, как бы не повредить, — точило многих из послевоенных: коротка ли, долга ль разлука — тринадцать-пятнадцать лет, — «дома, может, и не забыли еще»... Упомянутый выше хозяин караковых рассказал мне, помню, про одного парня из Полтавщины. Парень, звали его Семеном, жил себе неплохо у немца-сапожника, но одержим был одной только думкой: «як бы списаты до дому?» И смекнул, наконец, преловко: попросил хозяина написать в тамошний колхоз на его, Семена, имя — словно бы он, Семен, поработав у немца, репатриировался, так вот, как, мол, теперь поживает? Рассчитывал: что-нибудь да ответят, и он узнает, кто там остался живой. Бедняга не принял в расчет отечественной культуры сыска, и его перехитрили.

Хозяин-немец и в самом деле получил ответ, но — от кого, вы бы думали? — От адресата, с его «собственным» росчерком. «Двойник» писал, что действительно вернулся уже домой, обрел счастливую жизнь и других зовет возвращаться.

В последнее время, в связи с «оттепелью», некоторые, осмелев, пытаются, говорят, разузнать о своих. Одна знакомая дама отважилась написать в Одессу, отцу. И получила ответ. Вот как рассказывал мне об этом ее муж, из немецких

коммерсантов:

«Почему-то дала обратный адрес не наш, а знакомых, в другом совсем городе. Не спала ночами, переживала, хорошо ли сделала, ответят ли. И как-то поутру — телефон. Я подошел, я по-русски не понимаю, но слышу «Одесса» и догадался: пришло письмо. Она — как была, почти голышом — в прихожую и на колени (телефон у нас на низком столике), лицо белое, как бумага, трубка у уха прыгает. Я понял, что в нетерпении попросила вскрыть и прочесть ей письмо в телефон. Трубка что-то урчит, а у нее слезы, никогда не видал таких частых слез, так и прыгают из глаз, вся грудь мокрая. Смотрю — вдруг засмеялась и крестится. Послушает чуть и опять крестится, прямо на аппарат... Очень счастливые были известия. Теперь между прочим опять ночами не спит: боится, не повредила ли письмом дома»...

И еще один случай, с другой знакомой, уже пожилой и без удержу тосковавшей: у нее в Ленинграде осталась дочь. Эта знакомая решила, избежав письма, позвонить «туда» по телефону. «Я считаю, по телефону, пожалуй, безопаснее. Не узнают соседи... Как вы думаете?» Я никак не думал, а она носилась с этой мыслью чуть не полгода. Потом встретил ее в местном средневековом соборе. Среди шаркающих по каменному полу экскурсантов стояла недвижно у лесенки в алтарь и молилась. Обернулась ко мне с мокрыми счастливыми глазами.

— Позвонили? — спросил я.

— Позвонила!.. Ах, какое счастье! Представляете: жива моя Катя! Поговорили с ней. Вы только подумайте!..

— Расскажите же, как, о чем.

— Ах, вы себе вообразить не можете, какая это была жуть, когда вдруг соединили и покуда ждала, кто подойдет. И вдруг — Катя сама! Слышу ее голос — и спазма в горле, и слезы ручьем... Я спросила: Катя, ты? — и она в ответ узнала, заплакала. Так плачем обе в трубку и ничего, ничего не можем сказать. Четырнадцать лет!..

— Ну а потом?

— Потом станция сказала «разговор окончен», и выключили... Я хочу еще раз позвонить. Не опасно? Как вы думаете?..

ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВА

ВИД ИЗ ОКНА

Дождь слетает мелкий и клейкий,
И стволы от него черны.
Мокнут выгнутые скамейки,
Никому сейчас ненужны.

Но взлетает себе ж в угоду
И упруго шуршит фонтан —
Он роняет белую воду,
Изгибая жемчужный стан.

Разве кто поглядит случайно
На красу его из окна?
В сером холоде Траунштайна
Лужи. Зонтики. Тишина.

* * *

И снова поезд свистнул уходя,
И опустели мокрые пути.
Струится шорох легкого дождя —
И мне пора подняться и уйти.

Но мне мила вокзальная скамья
И то, что нынче уезжать не мне,
Что в это утро я почти своя
Моей любимой и чужой стране.

АЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ

* * *

И только — хлябь.
И только по лицу
Поток дождя.
И все еще в начале —
Задуман я,
Намечен Млечный путь,
Но — Первый день,
И неясны детали.

* * *

Листом опавшим воздух поскребу
И тем останусь жить.
Умру? Конечно.
Но возблагодарю свою судьбу
За этот воздух, горестный и грешный.

За этот вкус печали на губах,
За эту горечь позднего прозренья...

За тихий свет, принесший ослепленье,
Премногоблагодарствую, судьба.

ДМИТРИЙ БОБЫШЕВ

СИГНАЛ

Какая яркая — огня и льда слиянья,
и — силится внушить пульсирующий знак!
Я мог его понять, но только сам сияя,
сияя, — что давно и далеко не так.

А виделось: горит в селеньях занебесных
оконная свеча в покое, где ночлег.
Последний перегон, и мысль истает в безднах...
И все же не совсем, — так верит человек.

Но ежели вблизи мерцания и света
на месте мировом откроется дыра
и слижет огонек, — примите весть, что это
кому-то на покой в той горнице пора.

Какая яркая, какая ледяная
и вечная... Хотя — вся вечность: до зари.
Мгновения мои в себе соединяя,
вот — и сорвется луч. Я говорю: гори!

Март 1982.

ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА

Андрею Седых

В тот час, когда тупая сила
Пыталась справить торжество,
Я втайне сердца попросила
Лишь слова... больше ничего.

Что горше горечи весенней?
(Довольно, может быть, с меня!)
И снова дрожь — под воскресенье,
В сырой канун Седьмого дня.

Как в час прощанья, сжалось время,
И сердце сжалось тяжело.
Листки с помарками со всеми
Хранят короткое тепло.

И тяжким жаром пышет злоба,
По ветру строчки разметав,
А он не тронут — Вашей пробы,
Любви и искренности сплав!

Из-под металла, из-под сора,
Средь клочьев ветоши, сквозь дым —
Все четче контуры
набора
Который — не уничтожим.

НОННА БЕЛАВИНА

О, прекрасная осень моя!
Осень в радостно-пряных снах...
Никогда не поверю я,
Что бывает ярче весна.

Что весной? Наивный восторг
От луны, цветов и поэм,
И влюбленностей милый вздор,
Что любви не сродни совсем.

Нет, теперь, лишь в эти года
Знаю глубже цену вещей,
Цену отдыха и труда,
Цену нежной ласки твоей,

Цену крепкой дружбы навек
И пожатья верной руки...
Ничего, что не тает снег,
Покрывая мои виски.

Я годов серебряный свет
Доверяю всем зеркалам...
И за шалый весенний бред
Зрелых лет своих не отдам.

ИРИНА ОДОЕВЦЕВА

Андрею Седых

Дождь шумит по грифельной крыше,
Еле слышно скребутся мыши
Там внизу, этажом пониже —
Очень много мышей в Париже.

Снова полночь. И снова бессонница,
Снова смотрит в мое окно —
За которым дождь и темно —
Ледяная потусторонница.

Как мне грустно!... Как весело мне!..
Я левкоем цвету на окне,
Я стекаю дождем по стеклу,
Колыхаюсь тенью в углу,
Легким дымом моей папиросы
Отвечаю на ваши вопросы —
Те, что вы задаете во сне
О вчерашнем и завтрашнем дне.

Париж 82 г.

ВАЛЕНТИНА СИНКЕВИЧ

У РУИНЫ ВОЛЧЬЕГО ДОМА ДЖЕКА ЛОНДОНА

Калифорния и детство.
«Белый клык» —
волчий зов моих предков.
Редко мы вместе
у истоков нашего детства.
Долина Луны.
Мы одни.
Волчий дом?
Он сгорел.
Но не верю глазам —
камни здесь вековые,
живые.
В Долине Луны
я лишь памяти верю:
было детство и домик
и старенький томик
«Зова предков» —
ведь он уцелел!
Волчий дом не руина.
Это спины
моих поездов, кораблей,
это сани бегут в упряжке,
на снегу моем тяжко
человечья движется тень...
Волчий день уцелел!
Кто сказал о руине?
Снег в горячей лунной долине
просто окаменел.

ТАТЬЯНА ФЕСЕНКО

НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ

Ресторанчик с желтыми тентами,
Скатерть в клетку, белое с красным.
Мы в краю, обжитом студентами,
Где нам кажется все прекрасным.

Разве в молодости мы мечтали,
Что с тобой нам еще суждено,
В переулке, в Латинском квартале
Заглянуть к антиквару в окно?

Здесь в саду посидим у фонтана.
Вечереет. На клумбах тени.
Лакированный шарик каштана
Мне сейчас упал на колени.

Дорогой мой, придвинься поближе,
Вникни в смысл даже мелких примет:
Это Киев с каштана в Париже
Посылает знакомый привет.

ИГОРЬ ЧИННОВ

ЧИТАЯ «ПУТИ, ДОРОГИ»

Пути, дороги. В Падуе Антоний,
В Толедо Греко, херес и паэлла.
И пестрой толчеей воспоминаний
Разбуженная память зазвенела.

Венеция. Фантастика собора.
Пел хриплый гондольер «О соле мио».
Мы пробовали петь «Санта Лючия»
И запивали марсалой омара.

Над Альказаром просветлела туча.
Я помню башни в предзакатном свете
И холодок узорчатой мечети
И в кабачке холодный суп гаспачо.

И в сутолке Латинского квартала
Сорбоннского студентика индуса
Веселая датчанка обучала
Искусству не пьянеть от кальвадоса.

А в Риге запах русского трактира,
На чайнике пунцовые пионы.
И пирожок с капустой, отраженный
В сиянии большого самовара.

И как в кино, мгновенной сменой кадров
Покажет память многое другое:
И блеск берез, и тени старых кедров,
И римский день в полупрозрачном зное.



Встреча Ал. Л. Толстой и Андрея Седых.

ВОСПОМИНАНИЯ

АЛЕКСАНДР БАХРАХ

ПУТИ, ДОРОГИ

ПОЧТИ БЕССОЗНАТЕЛЬНО совершил я плагиат, дав этим беспорядочным заметкам заглавие книги Андрея Седых, которую не раз перечитывал, не столько из-за ее несомненных литературных достоинств и живости туристических восприятий, сколько потому, что особенно вторая часть этой книги напоминала мне о собственных моих странствованиях по средиземноморской Европе, очень частых в послевоенные годы и всегда радостных.

В детстве, еще разгуливая в коротких штанишках, я успел побывать с родителями в Италии, но эти летние поездки ограничивались традиционным катанием на венецианских гондолах и купанием на Лидо, затем Миланом и итальянской Ривьерой. Я отлично помню, хоть с тех пор миновало примерно шестьдесят лет, модное теперь Алассио, которое тогда было мало кому из иностранцев известно. Алассио «курортом», собственно, еще не было и кроме некоторого количества тяжеловесных вилл, окруженных большими садами, в нем имелся один единственный большой отель, как бы окаймляющий огромный пляж, сверкающий своей белизной. Несколько лет тому назад, чтобы проверить отроческие впечатления, я посетил Алассио и мог только ахнуть: я попал в шумный городок, безостановочное автомобильное движение в котором регулировалось карабинерами, а отелей, пансионов, всевозможных магазинов в нем уже было не счесть. Зато пляж успели как-то обкурносить, потому что часть его была аннексирована террасами прибрежных кафе и ресторанов. Впрочем, такова горестная судьба всех берегов одиссеева моря. Пережитки XIX века заменились стремлением перешагнуть

в XXI.

Южнее Милана мне побывать долго не доводилось и, будучи в эмиграции, я только мечтал о посещении казавшейся мне «недоступной» Италии, пока в 1949 году меня не пригласил в Рим старый мой приятель, родившийся в Москве итальянец, отец которого занимал там завидную должность итальянского консула.

Это приглашение, сознаюсь, меня сильно взбудоражило. Я и по-сегодня завидую каждому, кому суждено посетить Рим впервые. Ведь это «паломничество», как по-другому можно определить эту поездку, рождает какие-то особые чувства, в которых проскальзывает что-то почти иррациональное, как и некая магия в самом звучании имени «Вечного города». А ведь поначалу он показывает себя приезжему с самой прозаической, чуть ли не отталкивающей стороны, и действует только гипноз имени. Но это разочарование быстро рассеивается, и, миновав римские задворки, открываешь непреходящую «единственность» этого города. Вспоминаю, как я понял это по дороге к обиталищу моего друга, когда очутились мы у той знаменитой лестницы, ведущей к «Тринита деи Монти», которая, начиная со Стендаля, столько раз описывалась в романтическом свете.

Приятель мой был человеком на редкость гостеприимным, в нем оставалась московская закваска, и, занятый по горло, ради моего приезда взял отпуск, чтобы назавтра повозить меня по городу и хотя бы из окна автомобиля показать мне все те римские «чудеса», к которым, не теряя времени, устремляются все туристы. Почти не останавливаясь проехали мы мимо Форума, мимо Колизея, поднялись на Капитолийский холм, разочаровались при виде Тарпейской скалы, издали увидели колоннаду святого Петра. Затем он заставил меня (и это, действительно, подействовало, потому что я бывал затем в Риме множество раз) бросить монету с изображением виноградной лозы в фонтан Треви, которую тут же своим сачком старался выловить усевшийся на одном из тритонов чернокудрый мальчуган. После этой церемонии мой друг повез меня на бесподобную «пиацца Навона», чтобы освежиться мороженым, в той почти легендарной кондитерской, в которой посетителю предлагают карточку с перечислением чуть ли ни ста видов различных «джелати». Единственной ошибкой в этом маршруте, скомканном из-за недостатка времени, было включение в него

поездки по Аппиевой дороге. Я почувствовал это, когда впоследствии не раз ходил по ней пешком и понял, что из окна автомобиля, как бы медленно он ни ехал, нельзя окунуться в воздух этой «священной» дороги, нельзя отгадать, что растущие у ее обочин пинии и кипарисы в каком-то смысле не те же самые, которые высятся где-то по соседству. В автомобиле неизбежное мистическое чувство, внушаемое этой древней дорогой, как-то выветривается.

Зато в последующие дни, более пристально осмотрев все то, что было накануне показано мне издалека, я попутно ощутил всю прелесть самостоятельных блужданий по «безымянным» узехоньким улочкам, лишенным тротуаров, не думая о достопримечательностях, и прислушиваться к выразительной ругани на римском диалекте, непременно сопровождаемой соответствующей жестикуляцией. Тогда мне, как бы вослед Гоголю, «нравилась сама невзрачность этих неприбранных улиц и отсутствие на них желтеньких и светленьких красок на домах, нравились беспрерывные внезапности, нежданности, когда вдруг среди ничтожного переулка возносили дворец, дышащий строгим и сумрачным величием». Мне даже не раз удавалось наталкиваться на тормозящую уличное движение повозку, запряженную осликом.

Но я отклонился в сторону лирических переживаний, а собственно хотел рассказать о другом. Покидая Париж, я должен был выполнить два поручения: одно от Бунина, повидаться и передать что-то для него важное Татьяне Львовне Сухотиной, старшей дочери Льва Николаевича, с которой я как-то познакомился в Париже на писательском балу и которую я не мог забыть из-за физического ее сходства с великим отцом. Но сколько я ни звонил к ней по телефону, утром, днем или под вечер, я слышал неизменный рефрен — "la contessa si reposa". Только в самый день моего отъезда мне удалось, наконец, поговорить с ней и выполнить бунинское поручение, но для встречи времени больше не оставалось, и я до сих пор об этом жалею.

Второе поручение связало меня с человеком, имя которого широкой публике едва ли известно, но который оставил заметный след в итальянской исторической науке. Это был один из тех лишенных какого-либо педантства ученых, знакомство с которыми как-то сразу сближает. А помимо того, Николай Петрович Оттокар, медиевист и профессор Флорентийского университета, был человеком с весьма затей-

ливой биографией.

Конечно, мы договорились встретиться в том знаменитом кафе Греко, о котором упоминает письменно или устно каждый русский при описании своего пребывания в Риме. Ведь в этом самом кафе Гоголь обдумывал план «Мертвых душ», и это было увековечено мемориальной дощечкой, под которой мы уселись, стараясь друг другу внушить, что именно за этим самым круглым столом Гоголь трудился над своими черновиками. Мало ли о чем можно с приятностью пофантазировать...

В ожидании ужина Оттокар вкратце успел кое-что о себе рассказать. Был он во время оно студентом Петербургского университета, учеником знаменитого тогда профессора романо-германского отделения Гревса, пожалуй, одним из его столпов.

Впоследствии я узнал, что у Гревса было два любимых ученика — одним из них был Оттокар, другой Карсавин, о котором нет нужды распространяться, имя его слишком известно, как известна и его трагическая судьба. Жизнь этого философа, внешне — не знаю, было ли это умышленно — старавшегося походить на репинский портрет Владимира Соловьева, шла какими-то зигзагами — то он тяготел к католицизму, то увлекался евразийством и собственно не находил себе должного применения, пока не согласился принять какую-то кафедру в университете литовской столицы, где он и был застигнут советскими «органами» и погиб в одном из «гулагов».

Но вот, что было не совсем естественно и о чем выпукло рассказывал Оттокар: двух любимых учеников старика Гревса, хоть оба они работали примерно в одной и той же области, связывало больше всего то, что оба они никогда и ни в чем со своим знаменитым учителем не соглашались, не переставали ему оппонировать и иронизировать над тем, что Оттокар еще продолжал называть его «интеллигентской мягкотелостью». Но тем более надо преклониться перед памятью Гревса, потому что, несмотря на постоянные ссоры и пререкания (конечно, они касались исключительно научных проблем), Гревс понял, что перед ним два выдающихся молодых ученых, которые покажут себя в будущем, и всячески, как только мог, обоим протежировал. Впрочем, и они, хоть перебранки порой носили довольно острый характер, высоко ценили своего ментора.

Оттокар понемногу отходил от интереса к внешней, показной и потому более благодарной стороны истории Возрождения, считая, что и без него о ней достаточно написано, и углублялся в бытовую прозу истории, изучая в частности положение тосканских и умбрийских городов, их внутренний распорядок.

Может быть, прибавлял он с улыбкой, эта «проза» подсказала ему, что в умиравшем Петербурге трудно просуществовать, и, узнав о предстоящем открытии университета в Перми, он, по ходатайству Гревса, который еще не был официально признан «идеалистическим мракобесом», получил пост ректора молодого университета.

В Перми было и сытнее и спокойнее, и Оттокар не без оттенка хвастовства римским летом вспоминал о том, как с женой они «по-сибирски» на зиму замораживали пельмени, которые потом по мере нужды разрубали топором и оттаивали.

Но и над таким медвежьим углом, каким была Пермь, тучи начинали сгущаться, и Оттокар для завершения начатых работ выхлопотал себе заграничную командировку и поселился во Флоренции, уже безвозвратно. Продолжая углублять начатые под руководством Гревса темы, он вскоре получил профессорскую кафедру во флорентийском университете и создал даже теорию о том, что плачевный конец «еретика» Савонаролы был больше вызван неполадками с флорентийским магистратом, чем отлучением от церкви.

Через какое-то количество лет русский эмигрант, прибывший на берега Арно с одним только убогим чемоданом, набитым рукописями, был избран «почетным гражданином города Флоренции». Об этом избрании он говорил с иронией, и мне было как-то неловко выяснить у него, были ли еще другие россияне, удостоившиеся этой чести.

Ученый, в своей области едва ли не единственный, обладавший в академических кругах большим авторитетом, он к своим собеседникам проявлял теплую дружественность, обладал даром приблизиться к каждому с какой-то ласковостью и любопытством. В том, что касалось его самого, он был не слишком многоречив, даже часто застенчив, но, к примеру, узнав, что в Риме я впервые, он с подлинным увлечением дал мне тут же ряд советов касательно того, что я «обязан» повидать и что, конечно, ускользнуло бы от моего внимания, потому что не входило в программу

ни одного из профессиональных гидов.

Наступал час обеда, в Риме довольно поздний, а мой приятель еще с утра твердил, что непременно хочет меня угостить одним из итальянских национальных блюд — «канеллони». Оттокар охотно к нам присоединился, но с поразившей меня решительностью заявил, что в Риме имеется только одно место, где по-настоящему умеют эти самые «канеллони» изготовлять, хоть, как оказалось, дело это было не очень-то сложное.

Это «единственное» место оказалось очень уютным рестораном на «Пьяцца делла Татртаруга», то есть на «Черепашьей площади», так названной из-за фонтана, украшенного черепахами. После нашего «пира» я более внимательно оглядел эту площадь, окруженную домами позднего римского барокко, и Оттокар успел показать, что при каждом из домов был внутренний дворик, причем каждый был архитектурным шедевром, каждый в своем роде, со всевозможными лесенками, вычурными завитками и той причудливой декоративностью, которая была свойственна одним только итальянским архитекторам XVI века. А «Черепашья площадь» в эти ночные часы, почти безлюдная и еле освещенная, казалась перенесенной сюда из какой-то давно исчезнувшей эпохи. «Канеллони» многое тогда мне приоткрыли!

Прощаясь, Оттокар просил меня снестись с ним, как только я попаду во Флоренцию, но мне хотелось провести еще несколько дней в Риме, воспользоваться его же советами, и во Флоренцию я попал только недели через две после нашей первой встречи. Я чуть ли ни с вокзала позвонил ему — не столько для того, чтобы он показывал мне город, ставший для него родным, сколько чтобы еще раз поболтать с ним о прошлом, о «его» Петербурге, но оказалось, что попал я во Флоренцию не вовремя. Оттокар был погружен в экзамены с утра до вечера, но все-таки он назначил мне свидание в кафе против Синьории, подчеркнув, чтобы я непременно был в назначенном месте, как только замечу, что солнце вот-вот собирается заходить. Естественно, что я был сильно заинтригован: такого рода свидания, думал я, назначаются только в детективных романах.

К кафе Оттокар подъехал на своей машине. «Скорее, скорее!», — только и успел он произнести, и мы уже пересекали мост через Арно, направляясь к Сан-Миньято, церковке, расположенной на небольшом пригорке, перед

которым расстилался довольно широкий луг. Вдалеке, у наших ног лежал город, узкой ленточкой вилась Арно, виднелся силуэт Собора и угадывался абрис Понте-Веккио. «Все это вы могли увидать и без меня, сказал мой «Вергилий», но вы бы посетили Сан-Миньято не тогда, когда надо». Действительно, едва он эти слова произнес, как Флоренция стала закутываться в какую-то неземную розовато-абрикосовую пелену, которая то и дело волшебно переливалась самыми неожиданными оттенками, иногда она чуть пунцовела, иногда отсвечивала фиолетовым, чтобы постепенно все более и более сереть, пока в наступивших сумерках не зажглись фонари и своим искусственным светом словно зачеркнули все виденное.

Кстати, об освещении. Я много раз бывал в Венеции, всякий раз подъезжая со стороны Местре. Но однажды мне посчастливилось подойти к венецианскому порту при восходе солнца, приближаясь к нему на теплоходе, который вез нас из Афин. Я случайно ранним утром вышел на палубу и был ошеломлен: Венеция была пронизана непередаваемо нежным светло-апельсиновым светом, преображавшим до неузнаваемости знакомые строения. Но свет этот тут же перед нашими глазами стал таять с невероятной быстротой и когда мы подошли к набережной, все было уже «на своем месте», а то, что мы могли наблюдать, — никакой Каналетто, никакой Гуарди, никакой Тернер передать бы не сумел, да им бы и не поверили.

Я благодарен судьбе, что в лето от Р. Х. 1949-е мне удалось повидать, наконец, Рим, Флоренцию, Сиену и познакомиться, кроме того, с замечательным русским флорентийцем, и теперь я с самой искренней убежденностью готов повторять слова Герцена — «О, Рим, как люблю я возвращаться к твоим обманам, как охотно перебираю день за днем время, когда я был пьян тобою».

Впрочем, написав эту последнюю фразу, я стал сам себе удивляться. К чему мечтать о далеком, разве теперь в любимом моем Париже, в котором протекло три четверти моей долгой жизни, прошли порой горькие, порой счастливые года, я не окружен такой же «сказкой», какая мерещится мне по ту сторону Альп?

«Где ж лучше? — Где нас нет». Вероятно, в нашей непоседливости разгадка большинства наших неполадок,

охватывающей нас иногда тоски. Да что говорить — ведь об этом уже давно-давно и очень убедительно писал мудрый Паскаль.

Париж.

РОМАН ГУЛЬ

ЗАПИСИ

Эти записи бесед с бывшим флигель-адъютантом императора Николая II, капитаном 2-го ранга гвардейского экипажа Николаем Павловичем Саблиным, были сделаны мной в Париже (по-моему) в 1937 году. В 1936-м году я записал беседы с гр. Л. Н. Воронцовой-Дашковой о вел. кн. Михаиле Александровиче. Записи эти (почему-то с сокращениями) были опубликованы в рижской газете «Сегодня» в июле 1937 года. Через Л. Н. со мной связался Н. П. Саблин и предложил, чтоб я записал беседы с ним. Я согласился. Николай Павлович тогда уже был болен (сердце). Жил он с женой в 16-м аррондисмане на рю Эрланжэ, в небольшой, но хорошей квартире. Я приезжал к нему, как мы говорили, — «на сеансы». Иногда Н. П. рассказывал, лежа на диване, иногда — сидя в кресле. Был он совсем седой, но по-прежнему очень красивый, по-военному (несмотря на возраст) выправленный. К сожаленью, таких «сеансов» было всего 5—6. Болезнь Н. П. их прервала. Записи публикуются впервые. Р. Г.

С ЦАРСКОЙ СЕМЬЕЙ НА «ШТАНДАРТЕ»

Я БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН императрице и императору в 1906 году в апреле месяце в Царском селе. Я был тогда 26-летним лейтенантом гвардейского экипажа. Помню, как сейчас, в Царском селе парад морскому батальону, только что вернувшемуся с подавления революционных беспорядков в Прибалтике. После парада в присутствии государя в Александровском дворце состоялся высочайший завтрак.

В громадном круглом зале дворца были сервированы два стола; за одним, круглым, сидели государь Николай II, императрица, княжны, великая княгиня Мария Павловна младшая и двенадцатилетний Дмитрий Павлович. С царской семьей сидели несколько приближенных офицеров. Мы же, остальные офицеры гвардейского экипажа, заняли места

за другим столом.

Я уже знал о моем будущем назначении на царскую яхту «Штандарт», но все же был взволнован, когда дежурный старший капитан I ранга Чагин, командир «Штандарта», подошел ко мне, сказав, что хочет меня представить императрице, как будущего офицера яхты. И Чагин подвел меня, представляя, к императрице, стоявшей возле сервированного стола. Императрица подала мне руку, сказав:

— Я очень рада.

И я занял место за царским столом, неподалеку от императрицы. Меня поразила ее спокойная, величавая красота. Императрица держала себя очень просто, разговаривала, смеялась, она хорошо говорила по-русски, хоть и с заметным немецким акцентом. Неподалеку от императрицы и прямо против меня сидела ее фрейлина Анна Вырубова, с которой тогда уже была очень близка императрица. Но насколько очаровательное впечатление произвела на меня, молодого лейтенанта, императрица, настолько же мне не понравилась ближайшая к ней фрейлина. Я уже знал от лиц близких ко двору, что этой слабовольной, доброй женщиной многие пользовались для влияния на императрицу и это влияние причиняло тогда уже немало зла.

После окончания завтрака, во время которого я удостоился разговора с императрицей, я получил официальное назначение на яхту «Штандарт» и с тех пор в продолжение десяти лет стал одним из близких людей к царской семье. Вплоть до трагической катастрофы и революции я был одним из ближайших к императору и императрице людей. В продолжение лета и зимы 1906 года мы, несколько офицеров с яхты гвардейского экипажа: я, Тимирев, Салтанов, Вадбольский часто ездили в Петергоф к фрейлине Вырубовой, где жила она в дворцовом особняке; там обычно играли в домино, любимую игру государыни; иногда ездили к балалаечникам, музыку которых государыня также любила. Это времяпрепровождение вблизи государыни и близких ей лиц всегда было чрезвычайно приятно своей непринужденностью, простотой, весельем.

* * *

А в следующем 1907 году мы отправились на яхте с царской семьей в плаванье. В этом плаванье произошло

в свое время обошедшее все газеты событие, когда царская яхта наскочила на камень около Аосских шхер. Помню, как сейчас, великолепный июньский день; в четыре часа я сдавал вахту старшему лейтенанту Терпигореву и лег отдохнуть в каюте, которая выходила на правый борт яхты, и заснул мертвым сном. Государыня с семьей в это время, окончив дневные игры с детьми, мыла руки, чтоб идти пить чай. Как вдруг в этот момент словно что-то подняло яхту и раздался страшный удар. Полетели со звоном битая посуда, стекла, в коридоре, в буфете творился форменный хаос, когда я выскочил из своей каюты, бросившись на носовую часть, узнать, в чем дело, где уже была вся команда.

Мы шли в этот момент в шхерах в конце Финского залива к северу. После страшного удара на носовой части на мгновение воцарилась полная тишина. Общий взгляд был устремлен наверх, где находилось все начальство. Оттуда раздался крик капитана I ранга Чагина, командира яхты:

— Гичка! К спуску! Для его императорского величества!

Колокола громко в бой! На яхте тревога! По всей яхте водяные звонки тревоги. Все бросились по местам. Я как офицер заведующий всем кормовым отделением, по уставу должен был проверить, все ли закрыто от днища до верха, и поэтому волей-неволей встретил государя в его каюте. Государь был спокоен, но быстро собирал бумаги в портфель. (Это было трехнедельное плаванье).

— Что случилось? Каково положение наверху? — проговорил, обращаясь ко мне, государь. — Каким местом мы сидим на корме? — В каюте были государыня и дети.

Но ничего точного сообщить государю я не мог. Картина же в этот момент была такова: «Штандарт» накренился градусов на 19, кругом яхты масса кораблей, 15—20, все двигались прямо к яхте, не понимая, что случилось, в сознании необходимости подать помощь. Все начало выясняться спустя первые тревожные мгновенья. Оказалось, что яхта — саженях в двадцати от каменного острова, но на фарватере появилось какое-то неизвестное препятствие. Палуба начала проваливаться, стуки раздавались в днище яхты, нос и корма вылезли, став свободными. Командир вошел к государю, прося его тут же съехать с яхты. В первый момент катастрофы мы все бросились искать матроса Деревенько, дядьку цесаревича.

Кругом яхты масса судов, шлюпок, все столпилось на случай оказать помощь яхте. Ревельское спасательное общество выслало свой пароход. Были вызваны немедленно все яхты, но ни одна из них не успела прийти. И государь с семьей перешел на рабочий крейсер «Азию», где и заночевал в 7 вечера.

Тем временем мы, офицеры, вместе с механиками, во главе с командиром осматривали яхту, доискиваясь причины катастрофы. При осмотре яхты мы нашли громадную вогнутость в днище, настолько большую, что если б эта вогнутость превратилась в пробоину, катастрофа могла бы принять куда более страшные формы.

К 12 часам ночи яхта была уже пуста. Весь экипаж был снят прибывшими ревельскими пароходами спасательного общества, а вместе с экипажем сняты были и уланские трубачи, всегда увеселявшие музыкой государя и его семью в этих увеселительных прогулках на яхте.

* * *

Наступил день отплытия царской яхты. Этому предшествовал — и сопровождался большой пышностью — церемониал. Собрались все суда, назначенные к плаванью, с утра в полном составе и в полном порядке, как в смысле погрузки углем, так и в смысле порядка всей команды. Почти всегда плавание государя начиналось в 4 часа. И к этому времени «Штандарт», представлявший из себя красивейшую игрушку, — каждый момент слушал и ждал сигнала кондуктора, который стоял на мостике, наблюдая и ожидая выхода из Петергофа «Александра» под флагом императора.

Как только кондуктор кричал: «Государь император выходит из порта на «Александре»! — с этого момента и начиналось плаванье. Охрана судна становится на свои места. Все по своей службе. Паровые катера, два чудесных корабля — «Петергоф» и «Бунчук», под командой флаг-капитана идут медленно навстречу «Александру». А «Штандарт» уже готов к принятию государя, его семьи и ближайшей свиты. На «Штандарте», уходящем в плаванье с государем, обычно было такое количество народу: 10 человек ближайшей к государю свиты со своей прислугой; около 50 человек лакеев I, II и III классов (лакеи I класса служили государю, II

класса — ближайшей свите, III класса — прочим сопровождавшим); 25 поваров и кухонной прислуги; хор музыкантов и певчих около 100 человек; и экипаж «Штандарта» — офицеры и матросы.

Паровые катера встречают «Александр», на борту которого находится государь. Государь с семьей переходит с «Александра» на «Бунчук»; оба катера, «Бунчук» и «Петергоф», судна замечательной красоты, и такова же подобранная на них команда: на одном подобраны все брюнеты, молодец к молодцу, на другом такие же молодцы блондины. Катера оборудованы по последнему слову морской техники.

На яхте оркестр играет встречу — в момент, когда с катера «Бунчук» государь переходит на свою царскую яхту. Государь обходит фронт офицеров и матросов. Государыня принимает поднесенные ей цветы. Наконец раздается команда: — По местам стоять! — и яхта снимается с якоря под звуки оркестра, уходя в море, под флагом государя, и тогда все крепости Кронштадта салютуют. Но это зависело всегда от желания государя — идти ли под вымпелом или под флагом. Иногда государь приказывал выбросить флаг, а в море — брейт-вымпел.

* * *

Жизнь на яхте всегда шла по своему точному регламенту. В начале июля 1909 года яхта уходила в плаванье на 24 дня. Первый курс был к шведским берегам, где государь должен был отдать визит шведскому королю, который был с визитом в прошлом году. Чудные берега, шхеры идут до самого Стокгольма; днем — видны укрепления; подходя к Стокгольму, государь вышел на борт — смотреть на лагерные укрепления и занятия шведских войск. В этот момент мы ясно различили отплывающий от берега катер, шедший по морю. Оказывается, в катере плыли высшие морские шведские офицеры, везшие ящик орденов для всех офицеров яхты «Штандарт», чтобы, прибыв в Швецию, мы все уже вместе с русскими орденами имели на груди шведские.

Ясный день. Солнце. Легкий бриз. Яхта подходит, скользит к Стокгольму. Чудный порт, все в нем сделано на широкую ногу, красиво. Полковник королевской гвардии встречает государя, у пристани уже стоит карета для эскорта государя во дворец, куда государь и уезжает

с государыней с пристани под звуки музыки и крики далекой толпы.

Вечером в королевском дворце — обед. А на другой день — ответный завтрак на яхте. Дабы принять шведского короля и королеву, на рейд выезжаем мы, офицеры, на громадной гондоле в сорок гребцов. Гондола, сделанная из старинного дерева, очень красива. Итак, обменявшись визитом со шведским королем, побывав кроме того у великой княгини Марии Павловны младшей, вышедшей замуж за ненаследного принца Альбрехта, государь отдал приказ яхте плыть дальше, взяв курс на Киль, на свидание с германским императором Вильгельмом II.

В Киле уже было известно о приходе царской яхты; в городе царило оживленье, все готовилось к пышному приему. Но согласно приказанию государя, яхта, против всеобщего ожидания, прошла прямо к входному шлюзу. И только здесь, в шлюзе, встретил яхту громадный почетный караул в полковых старинных формах, в белых брюках, с громом оркестров музыки. И в тот момент, когда яхта дала ход из шлюза по каналу, справа и слева по берегу появились кавалерийские эскорты первых кавалерийских гвардейских полков Вильгельма II и полк Августа (бессмертные гусары). На каждых 11 человек конников приходился один офицер, все в полной парадной форме, необычайно красивой. На замечательных тонкокровных конях они скакали, сопровождая быстро идущую царскую яхту, скакали в карьер, и через каждые пять верст стоял новый взвод кавалеристов, сменявших доскакавших. Это было чрезвычайно эффектное зрелище, на которое государь и государыня, окруженные свитой, глядели с борта быстро идущей яхты.

Чтоб не отстать от яхты, кавалеристам приходилось делать объезды, они неслись карьером и ни на минуту не отставали. В трех главных местах были выставлены большие отряды пехоты с гремевшими оркестрами.

А на переходе из Киля в Вильгельмсхафен к яхте подплыл катер, везший на борту императора Вильгельма II. В это время я уже был близок к царской семье, как к императору, так, в особенности, и к императрице, и я знаю, что этого свиданья государь не хотел, им он тяготился, поэтому яхта и не заходила в Киль, но тут уже свиданье с германским императором состоялось, хотя было очень

кратко и официально.

К вечеру из Вильгельмсхафена мы вышли в неуютное туманное Немецкое море. Тут началась качка. Налетел ветер, все наполнилось густым туманом. И только благодаря разным усовершенствованиям на немецких миноносцах, которые сигнализировали и в тумане, яхта могла спокойно выйти в бурное море. Началась морская качка, плохо действовавшая на великих княжен.

Зато к Шербургу мы подходили в ясную погоду, в полдень, по залитому солнцем морю. У Шербурга на рейде нас уже ждал весь французский флот. Под гром салютов со всех судов яхта стала в Шербурге на якорь. Из-за тумана навстречу нам были высланы курсировавшие крейсера. И в час дня на дредноуте «Репюблик» в высочайшем присутствии и в присутствии президента Франции — Фальера — состоялся завтрак. После завтрака у государя была беседа с президентом Фальером с глазу на глаз. А вечером на рейде началось необычайное празднество, электрическая иллюминация, морской маскарад, венецианский оркестр.

На другой день произошел неприятный случай, который, к счастью, окончился благополучно. Надо было грузить уголь для похода в обратный путь. И надо было выбрать такое время, когда государя не было бы на яхте. Выбрали обеденное время, государь как раз отбыл на обед на дредноут «Прованс». Но когда в спешке подтягивали баржу с углем, между яхтой и баржой лопнул трап и три человека сорвались в воду. К счастью, их спасли. И все обошлось.

* * *

Через несколько дней царская яхта, провожаемая французскими судами, отбыла в Англию, в Портсмут. Посреди пролива нас встретил английский эскорт — три крейсера — и повел нас к Портсмуту. На громадном портсмутском рейде императорскую яхту встретил весь английский флот, построенный в каре. На нем было более тридцати английских адмиралов. Здесь же яхту государя встретил король Георг V на своей яхте «Виктория и Альберт» и, пропустив «Штандарт» вперед, пошел сзади нас. Между английскими кораблями стояли катера с названием эскадры, к которой мы подходили. Обход всего флота продолжался более полутора часов, после чего мы взяли направление к одному острову, где

были собраны все частные яхты для международных гонок. Тут была и яхта английского короля, и яхта императора Вильгельма. Это была красивейшая картина, так как яхты были богатейшие и все только парусные. Международные гонки яхт продолжались три дня, на них выявились лучшие силы мира этого спорта.

В свободное время государь принимал на «Штандарте» офицеров английского полка, шефом которого он состоял. Играл английский военный оркестр. Принимал государь и разных высших английских должностных лиц, в числе которых был лорд-мэр в своем старинном одеянии.

В один из вечеров я был позван к государю, который предупредил меня, что на катере он совершит поездку на одну яхту и что эта поездка не подлежит никакой огласке. Яхта, которую посетили государь и государыня, принадлежала бывшей французской императрице Евгении (жене Наполеона III, она скончалась в 1920 году). На яхте государя и государыню встретила очень пожилая женщина, они провели в разговоре около 20 минут, простились и отбыли на «Штандарт».

Из всех офицеров только я и командир не были на берегу. Я командовал катером государя и получил тогда от государыни подарок в память этой стоянки в Англии.

* * *

Обратный путь был тот же. Немецкое море. Вильгельмсхафен. Киль. Мимо Киля мы проходили днем. И вдруг на одном из поворотов совершенно неожиданно увидели катер. Я был на вахте и вижу: катер императора Вильгельма. Он был в русской адмиральской форме (летней, белой), с большим букетом цветов. Это никого не обрадовало. Великие княжны Вильгельма не любили и были недовольны, потому что, как они говорили, — Вильгельм всегда паясничает, любит «валять дурака». Появление его было столь неожиданно, что принят он был на яхту через передний (грузовой) трап. Оставался он на яхте около двух часов и, как я узнал от государыни, — уговаривал их остановиться в Киле, чтоб видеть весь германский флот и участвовать в морских праздниках, которые должны были состояться на другой день. Но государь под каким-то предлогом отказался. И яхте было приказано в Киле взять запас воды

и идти в шхеры в Финляндию, что и было сделано. Все плавание продолжалось 24 дня. Было это в 1910 году.

ГРИГОРИЙ РАСПУТИН

Впервые я услышал имя Распутина в 1907 году в Финляндии. И услышал от государыни. Заговорила она о Распутине наедине со мной, сказав, что хотела бы узнать о нем мое мнение. Она попросила меня с ним встретиться. До этого я слышал, что какой-то простой человек бывает в царской семье. Но не придавал этому никакого значения. Я, разумеется, согласился с желаньем государыни, совершенно не представляя себе кого я встречу. Государыня предупредила меня, чтоб я не искал в этом человеке «чего-то особенного».— «Это очень набожный, прозорливый, настоящий русский мужичок, — сказала она, — он знает наизусть церковные службы. Конечно, это человек не вашего круга, но с ним вам будет интересно встретиться». И государыня дала мне его адрес.

Дня через два я поехал на какую-то улицу (не помню сейчас точно), где-то около Знаменской. В простом доме, как мне кажется, Лахтиных, я разыскал Распутина. По тому, как он меня встретил я понял, что о моем приезде он уже знал. Встретил он меня очень доброжелательно. И сразу заговорил со мной о религии, о Боге. Я отвечал довольно сдержанно. Распутин начал восторженно говорить о царской семье. Потом он перешел к обычным темам. В частности, спросил, пью ли я? Одет Распутин был в длинную русскую рубаху, штаны заправлены в высокие сапоги, поверх рубахи — какой-то полукафтан, полузипун. Производила неприятное впечатление неопрятная, неровно остриженная борода. Был он шатен, с большими светлыми, очень глубоко сидящими в орбитах, глазами. Глаза были чем-то не совсем обыкновенные. В них «что-то» было. Распутин был худой, небольшого роста, узкий, можно даже сказать, тщедушный. Когда я уходил, он попросил у меня пять рублей. «Дай, голубчик, мне пятерку, а то совсем я издержался». Я этому удивился, но дал. Произвел он на меня впечатление скорее неприятное.

Так как это было желанием государыни, я встречался с Распутиным не раз на его квартире. Государыня хотела, чтобы я ближе его узнал и чтоб получил от него благословение. После нескольких встреч с Распутиным я все-таки сказал

государыне о своем не очень благоприятном впечатлении о Распутине. Она ответила: «Вы его не можете понять, потому что вы далеки от таких людей, но если даже ваше впечатление было бы верно, то это желание Бога, что он такой».

Во время этих моих встреч с Распутиным я вел разговоры о нем и с А. Вырубовой, стараясь узнать, что он за человек? От Вырубовой я узнал, что Распутина близко знала вел. кн. Милица Николаевна (жена вел. кн. Петра Николаевича) и Анастасия Николаевна (жена вел. кн. Николая Николаевича), что его хорошо знает и сам вел. кн. Николай Николаевич, Распутин бывает у него во дворце. На мой вопрос, почему сейчас Распутин ближе к Вырубовой, чем к вел. кн. Николаю Николаевичу и его окруженью, Вырубова ответила, что это желание императрицы: ей легче и удобней сноситься с Распутиным через Вырубову, чем через Николая Николаевича или через Сандро Лейхтенбургского. Государыня, будто бы, хотела держать свои встречи с Распутиным втайне, она, будто бы, почувствовала, что окруженье вел кн. Николая Николаевича через Распутина хочет влиять на нее.

Должен сказать, что, узнавая ближе Распутина, я позволял себе говорить ему резкую правду в глаза. Так я говорил, что ему не следует ездить из Царского в Петербург в 1-м классе; сказал, что он держит себя в отношении царской семьи неподобающе развязно; сказал, что мне известно, что на одной станции он крайне грубо ругал начальника станции, а этого он делать не должен. Говорил ему, что он не должен «требовать» приглашений во дворец, не должен лезть нахрапом. На это Распутин ответил: «Вот когда надо молиться о наследнике — зовут, а когда не надо — то нет!».

Я видел, что Распутин старается «втереться» во дворец, в царскую семью. Поэтому, когда в 1912 г. царская семья была в Ялте, я, чтоб не допустить распространения всяческих слухов (которые уже начали ходить по стране), сделал все, чтобы Распутин не приезжал на яхту, на которой я был старшим офицером. Я попросил священника, бывшего на яхте, пойти и поговорить об этом с Распутиным. Он был, говорил. И вынес то же отрицательное впечатление. В частности, священник тоже обратил внимание на глаза Распутина, сказав: «У него в глазах что-то есть». Так я все-таки устранил приезд Распутина на яхту.

Помню, в конце войны, в 1916 году летом, как-то в одну из

поездок с государем из Царского в Петергоф купаться в Финском заливе (государь любил плавать и хорошо плавал), я решил сказать государю кое-какую неприятную правду о Распутине. Дело в том, что как раз накануне я видел Распутина у него на Гороховой № 2 — в совершенно пьяном, безобразном виде. Это — в первый раз я увидел его в таком непотребном состоянии. Я решил доложить об этом государю. После купанья, не без труда, но я все-таки доложил.

Государь принял мой рассказ совершенно спокойно, сказав: «При смене дежурства доложите об этом императрице». Я видел, что все, что касается Распутина государь всецело оставляет на решение государыни. Надо сказать, что в противоположность государю у государыни был очень сильный характер, сильная воля.

На другой день в 9 час. утра императрица приняла меня, и в присутствии государя я рассказал все, чему был свидетелем на Гороховой 2. Я видел, какое тяжелое впечатление произвел мой рассказ на государыню. Она сдерживала слезы, но не выдержала и заплакала. Овладев собой, она сказала: «Это Господь Бог шлет испытания нам, проверить — признаем ли мы его даже и таким...»

Мое отношение к Распутину ухудшалось: я видел, что он приносит много зла и династии и стране. Государыня мое отрицательное отношение к Распутину чувствовала, видела. «Вы его не поняли», — как-то сказала мне государыня. И с некоторых пор из наших разговоров тема о Распутине была исключена. Поэтому я не знал ни дня похорон Распутина и ничего, связанного с убитым Распутиным. Со мной на эту тему ни государь, ни государыня не говорили...

На этом прерываются мои записи рассказов Н. П. Саблина, ибо сердечная болезнь Н. П. осложнилась и я больше навещать его не мог. Вскоре, как мне говорили, Н. П. скончался. Но я хочу привести одну фразу из рассказов Н. П. Саблина, которую он мне повторял несколько раз, хотя хронологически мы в своих беседах до этого времени и не дошли. Эта фраза относится ко времени революции, ко времени перевода государя и его семьи из Царского в Тобольск. Н. П. Саблин несколько раз говорил мне, что «государь через Нилова передал Саблину, что он правильно поступил, что не поехал с ними в Тобольск». Думаю, эту фразу Саблин повторял мне несколько раз, потому, что в кругах монархистов некото-

рые упрекали его («ваше место было: быть с царской семьей до конца») в том, что он, очень близкий царской семье человек, не поступил так, как поступил граф Илья Татищев, который остался верен царской семье до конца, поехал с ней в Тобольк и вместе с ней был зверски умерщвлен большевиками.

ЮРИЙ ИВАСК

ЧУДАКИ

(Из книги воспоминаний «Повесть о стихах»)

ЧУДАКИ двадцатых — тридцатых годов, — теперь их как будто куда меньше.

В ревельском предместье Коппеле мы переселились в большой дом: сад спускается к самому морю. Перед колончатым фронтоном — широкий дуб, и всегда хотелось сказать: «среди долины ровные», как пелось в старой песне, написанной Мерзляковым, хотя здесь только небольшая лужайка, а не долина. В любое время бормотались чужие стихи и собственные вирши. Увлекался я и старыми, забытыми поэтами. Рычал Семена Боброва, того самого, которого Батюшков, Пушкин и арзамасцы называли БИБРУС, издеваясь над его архаикой и запоями:

Да будет Петр, Бог свыше рек:
И бысть в России солнце света...

Или эти стихи, написанные на спуск корабля стопушечного или стопятидесятипушечного:

Не оные ли полубоги
В полуночных полях растут?

Какие звуки: полу-полу-поля!..

А Милонов, отчеканивший:

По отзывам лиры ценят времена...

Марина Цветаева восхитилась этим стихом. Я тогда писал многим парижанам, и с некоторыми завязалась переписка. Алексей Михайлович Ремизов прислал грамотку за подписью царя Асыки, провозгласившего меня кавалером Обезволпала — Обезьяньей вольной палаты. Его рассказ был помещен в журнале «Русский магазин». Редакторы были я и Стерна Шлифштейн. Деньги дал ее отец, личность несколько загадочная: на двери вывеска зубного врача, а на приемы никто не приходил. Поговаривали: играет на черной бирже, спекулирует домами. По пятницам сидел перед свечами и невнятно бормотал: это напоминало наше завывающее чтение стихов. В семье иногда ни копейки, а то вдруг разживутся. Никакого порядка в квартире — днем, проходя через зубоврачебный кабинет, можно было увидеть одну из дочерей, спящую на клеенчатой кушетке, и все закусывали походя, чаще всего ночью.

Старый Шлифштейн решил издавать журнал. Но вышел у нас только первый номер. Почему «Русский магазин»? А потому, что я где-то вычитал, что в конце осьмнадцатого века выходил журнал «Российский магазин». Первый номер вышел с писаниями ревельских приятелей, а из парижан, кроме Ремизова, прислал стихи Борис Поплавский. Его письма — без запятых и с орфографическими ошибками, с ятью не на своем месте; корявый детский почерк, зыбкие мысли: «Если что *значит,* — писал он, — то это только удивление и жалость!» Его стихи без начала и конца, везде грязные ангелы, а неведомые синие глядят в океаны... Его призрачный Париж, приснившийся после фантастического Петербурга Достоевского, Блока, Белого. Но тогда очень его поэзией восхищались. Я мечтал о парижских кафе на Монпарнасе, куда уже проник предприимчивый Борис Вильде. В воскресных номерах «Возрождения» мы читали фельетоны Владислава Ходасевича, но предпочитали им четверговые «Последние Новости» с «подвалами» Георгия Адамовича.

Привлекала и Прага, где в «Цехе поэтов» командовал Альфред Людвигович Бем: там насаждали формалистов и поклонялись Пастернаку. О пражанах знали мы больше: оттуда приезжал Герман Хохлов, учившийся в ревельской русской гимназии, но не в нашей, казенной, а в другой, частной. — Волосы торчком, скуластое лицо, тускловатые глаза, а голос — флейта. Как он читал Пастернака, как волшебно стонали-пели открытые «а» в этом стихе:

О ангел залгавшийся, сразу бы, сразу...

Или:

Достать чернил и плакать,
Писать о феврале навзрыд...

Наши философические бредни Германа не занимали, и он укорял нас: «Вы разбрасываетесь, у вас нет готовальни»...

Он всегда был влюблен и всегда читал Пастернака. Я и до него прочел зеленую «Сестру мою жизнь» и лиловые «Темы и вариации». Стихи удивили, кое-что бормоталось. И вдруг пахнуло выпиской из тысячи больниц... Но — никакой метафизики, как у Блока, как у Поплавского, который, казалось нам, жил еще в блоковском мире, но уже не на Неве, а на Сене. Блоковщина звучала и у Георгия Иванова, но без синего певучего рая. Он «нигилист», «циник», но на какой вольной воле распевали его «ничего», его «нет»: «Хорошо, что нет России»...

И кроме этих «нет», было еще «все-таки»:

И все-таки тени качнулись,
Пока оплывала свеча,
И все-таки струны рванулись,
Бессмысленным счастьем звуча.

Это означало: блоковская музыка никого не спасет, она обманула, а *все-таки* она есть.

Пастернак — только диковинный соловей: страстно щелкает, выкидывает лирические коленца, а что за этим? Только «любовное томление» Фета, тот же шепот, робкое дыханье?.. Даже нет фетовского грозно-блаженного отчаяния: «Измучен жизнью, коварством надежды»...

Но Герман восхищал, и поэтому восхищало и его «пастерначанье». Сколько мы выпили с ним пива в ревельских трактирах, которые мы называли, по Достоевскому, распивочными. Но никаких разговоров «русских мальчиков» он не признавал: говорил только о своих «любвях», вздыхал волшебной флейтой: «О ангел залгавшийся, сразу бы, сразу»...

Именно в эти годы некоторые из эмигрантских сыновей начали уезжать в Россию. Уехал и Герман; год-два работал

в Детском музее, присылал восторженные письма, но в ежовщину был обвинен в «троцкизме» и «получил десять», из лагерей не вернулся.

Марину Цветаеву не любили в Париже. В Праге ее ценили, но предпочитали Пастернака. Зато она была «моей». Обольщала ее архаика, но и грубость — качества моего «первого поэта» Державина.

Гекатомбы, каких не зрел
Мир еще...

Рычал ее Тезей, а Ипполит обозвал классическую Федру гадиной...

Стихи Цветаевой блаженно рокотали, выли, и я скрежетал в нарушающих ритм переносах со строки на строку:

Как живется вам с другою,
Можется...

Казалось, что даже Блок в Дон Жуане так не повышал температуру души, как Марина Цветаева. Метафизики у нее нет, Бог ее не мучил, она имя Его поминала, но Им не обжигалась. Зато Цветаева — земля, земное, ветер, море, огонь, упоительные бури, пожары. А почерк прямой, отчетливый, могла бы записывать кредит-дебет в гроссбухе! Но стихи неистовые. Звучная мифология — Тезей, Ариадна, Ипполит, Федра, Зигфрид, Брунгильда, Роландов рог, торжественное бешенство Фурии, громы, молнии, потасовка, кутерьма!

* * *

Итак, мы жили в белом доме у самого моря — и сколько в нем жило чудаков, но стихов они не читали!

Покинутая полоумная жена, жившая на алименты, при встречах отвертывалась, давясь со смеху. Кто-то ее спросил: «Откуда вы?» Она, прикрыв рот ладонью, простонала: «Стыдно сознаться... из Острова».

Отставной чиновник, церковный староста, любивший великолепно возмущаться. Ему напомнили, что его черед мести лестницу, и он с наслаждением прогрохотал риторический вопрос:

«Разве к нам августейшие особы ходят?»

Ершов, другой чиновник в отставке, прежде заведовал

железнодорожной статистикой, выдумал какую-то замысловатую систему подсчетов. Жил с ним таинственный англичанин, загоревший до жуткой лиловизны: он с утра поджаривал себя на приморском солнцепеке. Оба ни с кем не знакомились. Ершов трамвая не признавал, ходил в Ревель пешком. Как-то я повстречал его около немецкого кладбища, и он неожиданно разговорился:

— Веду гигиенический образ жизни. Утром обливаюсь холодной водой, а вечером парюсь в чане, накаляемом примусом. Никаких газет! предпочитаю решать логарифмы...

А на лужайке, как бы «среди долины ровные», под сенью могущественного дуба паслась коза Дуся, и я любил с ней возиться: напоминала она стародавнюю любовь мою к Махотке. Дусины хозяева — немцы средних лет, Шмидты, живут в одной комнате, похожей на мастерскую, — верстак, стамески, молотки, гвозди и сложные запахи Ноева ковчега. С ними обитали подобранные или оставленные звери: хромая собака, кривая кошка, нелетающий голубь, неговорящий попугай, и там же ночевала Дуся. Шмидт, нищий, но неунывающий изобретатель, занимался усовершенствованием какой-то диковинной машины.

Дворник пожаловался начальству: коза обрывает кусты, и Шмидты должны были держать ее дома. Шмидтиха ночью нарывала траву в саду, а утром теми же кровоточащими руками мыла посуду в столовке. И тоже не унывала.

— Es wird schon besser sein... муж на все руки мастер, на днях возьмет патент... или получит место в Phasanerie, тогда заберем всех наших питомцев. — Незапоминающееся лицо, полуседые космы, а на куриной шейке поблекший шелковый платочек. Шмидт — миловидный брюнет, ходил в потрепанном рабочем комбинезоне, но всегда до блеска выбрит, значительно покашливает, весело подмигивает: "Alles in Ordnung!"

Мое бормотанье стихов, жеманные признания «островитянки», риторические вопросы церковного старосты, солнцепоклонничество лилового англичанина, логарифмы и припарки Ершова, perpetuum mobile Шмидта — это все явления одного порядка, одинокие игры, блаженное чудачество. Фрау Шмидт тоже, конечно, чудачка, но чином повыше: если есть святые, то она, несомненно, святая... В раю животных...

ГЛЕБ СТРУВЕ

ИЗ МОИХ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ ОДНОМ РУССКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ КРУЖКЕ В БЕРЛИНЕ

(Настоящая статья является несколько видоизмененным вариантом статьи, напечатанной в Новом Русском Слове в октябре 1981 г. Сопровождающие статью шаржи печатаются впервые: в результате какого-то недоразумения они тогда в статью включены не были, и я рад теперь возможности напечатать их вместе с текстом статьи в альманахе, посвященном редактору газеты, в которой они должны были, по моей мысли, появиться).

В НАЧАЛЕ 1920-х годов Берлин был одним из главных центров русской эмиграции и, в частности, ее литературной жизни. Этому способствовали и географическая близость к Советской России, и низкий, и до 1924 года все ниже и ниже падавший курс германской валюты. В Берлине возникло много русских издательств (иногда их жизнь была довольно скоротечна). Стало выходить несколько газет, в том числе ежедневных (кадетский «Руль», основанный В. Д. Набоковым, И. В. Гессеном и А. И. Каминкой, более левый «Голос России», эсеровские «Дни»). Выходил, основанный проф. А. С. Ященко, журнал «Русская Книга», вскоре переименованный в «Новую Русскую Книгу», в котором сотрудничали и эмигрантские писатели, и советские, как еще жившие в России, так и в довольно значительном количестве наехавшие или наезжавшие на Запад (среди них, например, Илья Эренбург). Журнал Ященко давал ценнейший материал

о тогдашней русской литературе, как советской, так и эмигрантской: биографические и библиографические сведения, рецензии на выходящие вновь книги и т. п. Сведения об этом журнале современный читатель найдет в мемуарах Р. Б. Гуля, а также в весьма ценном, готовящемся сейчас издании, основанном на материалах из архива самого Ященко.

Берлин был тогда, как я сказал в своей книге «Русская литература в изгнании», «на стыке» двух литератур — нарождавшейся зарубежной и внутрирусской.

Такой же характер носил основанный Н. М. Минским берлинский «Дом Искусств», который позже сменился «Клубом писателей». Об этих двух организациях интересно рассказал в прошлом году в Новом Русском Слове А. В. Бахрах (о «Клубе писателей» в номере от 6 сентября 1981 г., о «Доме Искусств» — в номере от 24 сентября, т. е. уже после моей статьи).

В «Доме Искусств» я бывал очень редко, а в «Клубе писателей», как напомнил мне А. В. Бахрах, я числился членом, но не помню, чтобы я бывал и там часто.

Впоследствии я немного жалел, что не бывал в «Доме Искусств» чаще, но я был тогда настроен очень антисоветски, а там все же чувствовался некоторый советский душок (о том, как это привело в конце концов к созданию на месте «Дома Искусств» «Клуба писателей» и рассказал в своей упомянутой выше статье А. В. Бахрах). Таким образом я был лишен возможности хоть раз повидать и послушать Бориса Пастернака. Творчество его и тогда уже меня интересовало, но я не мог, конечно, предвидеть, что через сорок неполных лет стану соредактором первого наиболее полного собрания его сочинений.

Зато я сам в конце 1922 года (я переехал в Берлин незадолго до того, чтобы наблюдать за печатанием журнала «Русская Мысль», который мой отец редактировал в Праге, но печатание которого, по финансовым соображениям было перенесено в одну из берлинских типографий) принимал участие в создании небольшого литературного кружка, о котором мало кто знал и тогда.

Кружок этот был не только частный, но и «тайный». Возник он по инициативе нескольких писателей разного возраста, которых объединяло отчасти личное знакомство, отчасти нежелание бывать в «Доме Искусств», а отчасти то, что они были сотрудниками ныне забытого журнальчика

«Веретено», из которого при каких-то обстоятельствах, уже забытых мною, вышли.

Кружок, о котором я хочу рассказать кое-что, назывался довольно громко и смешно: «Братство Круглого Стола». Название было придумано, как и многое другое в этом кружке, Леонидом Ивановичем Страховским, сыном бывшего Вятского губернатора, расстрелянного по «Таганцевскому делу». Учившийся в Императорском Александровском Лицее, но не окончивший его, Страховский перед революцией был знаком с Гумилевым и этим знакомством очень гордился. Прекрасно владея западными языками, он во время гражданской войны был «офицером связи» при союзниках в Архангельске и потом уехал с англичанами в Англию. В 1972 г. я напечатал в Новом Русском Слове статью о Страховском, в которой рассказал о его дальнейшей судьбе: окончив католический университет в Лувэне, он стал профессором русской истории сначала там, а потом в США и Канаде. Тогда, в Берлине, он был известен как автор стихов и рассказов, которые подписывал псевдонимом Леонид Чацкий.

Любил он всякие выкрутасы. Ему принадлежала идея законспирировать кружок, сделать его «тайным». Он стал секретарем кружка, вел протоколы заседаний. Сохранилось несколько таких протоколов, и уже гораздо позже, когда мы оба жили в США (он переехал сюда из Европы гораздо раньше меня), он подарил мне эти протоколы.

Кружок собирался за круглым столом у меня на квартире на Байрише штрассе. Правда, это была не квартира, а одна из комнат, которые я со своей первой женой снимал в одной немецкой семье. Весной 1923 г. у нас родилась дочь Марина, получившая имя, кажется, в честь Марины Цветаевой и, во всяком случае, ею названная: «моя крестница в мирах иных».

Нашим близким соседом был живший тогда тоже в Вильмерсдорфе Владимир Набоков (его отец в том же году, еще весной, был убит на лекции П. Н. Милюкова). Он сразу же стал одним из членов-учредителей «Братства Круглого Стола». Я был знаком с ним, как и со Страховским-Чацким, еще по Англии.

Другие члены кружка были уже нашими общими знакомыми по литературному Берлину. В протоколе первого собрания кружка, которое происходило 8 ноября 1922 г., перечисляются восемь членов-учредителей. Это — В. А. Амфитеатров-Када-

шев, сын А. В. Амфитеатрова, ставший председателем кружка; Сергей Горный, писатель-юморист, приобретший некоторую известность еще в России (это был псевдоним А. А. Оцупа, брата поэта Николая Оцупа; Сергей Кречетов, известный еще с начальной эпохи символизма; Иван Лукаш, молодой писатель-прозаик, начавший писать незадолго до революции или в начале ее (он стал товарищем председателя кружка); Владимир Сирин (т. е. В. В. Набоков); пишущий эти строки; В. Е. Татаринов, журналист, в то время сотрудник газеты «Руль»; и Леонид Чацкий, который, как уже было сказано, стал секретарствовать в кружке. В дальнейшем посещали заседания кружка и другие; например, поэт Владимир Корвин-Пиотровский, который на одном заседании читал свой рассказ; а также Н. С. Арбузов, у которого был потом книжный магазин. Но так как более поздние протоколы не сохранились, не могу сказать, были ли они кооптированы в кружок или были его гостями. Кажется, был на одном или двух заседаниях Н. В. Яковлев, преподаватель русской литературы в русской гимназии, женатый на дочери А. И. Каминки, одного из редакторов «Руля».

Присутствовали на собраниях, но не считались членами, и жены: моя тогдашняя жена хозяйничала на всех собраниях, бывала жена В. Е. Татаринова, Раиса Абрамовна, иногда, кажется, жена И. С. Лукаша. Остальные, в том числе и В. В. Набоков, не были тогда женаты.

В протоколе первого собрания мы находим такие пункты:

№ 3: «Общество является тайным. Не допускается никаких влияний»(?)

№ 4: «Организация клуба:

а) привлечь финансиста для устройства постоянного помещения при кафе или ресторане, где будут устраиваться субботники для публики, где будет находиться секретарь, где будет постоянная выставка произведений искусства;

б) предполагаемые члены-учредители клуба: Борис Зайцев, Саша Черный, Мунштейн, Тэффи».

№ 5: «Издание сатирического журнала... Заведование журналом принадлежит издателю и группе лиц, где не замаскирован лишь один редактор... Поручить переговоры с О. Кирхнер и Ко.: В. Амфитеатрову, Сергею Горному и Леониду Чацкому».

№ 6: «В принципе разрешается вести переговоры от лица группы писателей, но не раскрывая тайны Общества».

(Почему-то «Братство» тут называлось «Обществом»)».

№ 7: «План набега на Сполохи (один из главных тогдашних берлинских литературных журналов): поручить Сергею Кречетову и Леониду Чацкому».

№ 8: «План набега на «Руль»: поручить Сергею Горному и Глебу Струве».

Все эти широковещательные пожелания, в том числе и «планы набега», остались на бумаге. Более поздние протоколы не сохранились, а может быть, больше и не велись. Но кружок продолжал собираться и в 1923 году, его заседания все больше и больше носили характер дружеских литературных встреч, на которых участники читали свои произведения в стихах и в прозе. Более чем вероятно, что, с образованием в Берлине настоящего клуба писателей, о котором писал Бахрах, некоторые члены нашего кружка стали бывать и там.

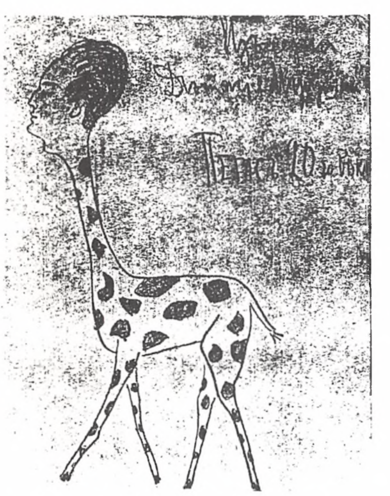
Помню также одну встречу «около» кружка — не у меня, а у В. Е. и Р. А. Татариновых. Не помню, кто на ней был кроме меня и моей жены. Во всяком случае, далеко не все члены кружка. На этой встрече В. В. Набоков читал очень «вольные» стихи, которые он не мог ни напечатать, ни читать публично. Технически они были прекрасно сделаны.

Кроме сухих и скучноватых протоколов, памятью о нашем кружке остались четыре нарисованных Страховским-Чацким шаржа на членов кружка. Страховский неплохо рисовал и умел схватить выражение лица тех, на кого он рисовал карикатуры. Два из его шаржей изображают В. В. Набокова — один в виде шахматного короля, а другой в виде морского конька. Кроме них, он нарисовал шаржи на В. А. Кадашева-Амфитеатрова и на Сергея Горного. В последнем он, мне кажется, уловил сходство не так хорошо, как в Набокове. Шарж на Горного он сопроводил маленьким стишком:

Дядя страшный
И в воде опасный.
Но на высотах
Ведь нет бегемотов.

Эти свои шаржи, которые он озаглавил «Из серии «Детские игрушки», Л. И. подарил мне уже во время нашей

американской жизни, вместе с протоколами. Я воспроизвожу эти шаржи здесь. Они занятны.



Сергей Горный (А. А. Оцуп).



В. В. Набоков.



В. А. Амфитеатров-Кадашев.

БОРИС ФИЛИППОВ

ИЗ ПРОШЛОГО

...На стены вызываю
уютный призрак рамочек былых
и гроздья лиц на снимках групповых...
...Так, вместе с временем, застыл и вихрь узорный
метелицы коричневой и черной.

Андрей Николев

НЕ ВЕРИШЬ В БОГА? А ты все-таки пойди со мной сегодня в церковь. Ну, хотя бы из интереса к русскому прошлому. Да ты ведь и в атеизм не веришь... Пропитался насквозь «Критикой чистого разума»... Но ты ведь и музыку любишь. А в Храме на Крови и поют замечательно...

В Питер я приехал с невероятной кашей в голове. Убежденный марксист, назубок знавший не только блестяще написанный первый том «Капитала», но и томительно бездарные писания Энгельса — и, одновременно, горячий сторонник Канта. Насквозь пропитанный Достоевским, особенно его «Записками из подполья» — и самый молодой член петроградского «НОМ» — Научного общества марксистов...

И вот — обедня в Храме на Крови. Храм переполнен. Дядя показывает мне внутри храма огороженное место: старая булыжная мостовая с черными пятнами давней запекшейся крови. Над этим местом некое подобие открытой со всех сторон не то часовни, не то высокой сени. Около нее свечи, свечи — целое море свечей.

— Царь мог бы спастись, — шепчет мне дядя. Первая бомба убила наповал кучера, конвойных казаков, многих

тяжело ранила, вдребезги разворотила карету, но император уцелел. Он с глубоким сочувствием подошел к убитым и раненым. Два полицейских схватили в это время человека, сочтенного ими за одного из бомбометателей. «Отпустите его, — приказал царь городовым, — это ты бросил бомбу? Хог'ош, хог'ош, нечего сказать...» И тут отпущенный городовыми выхватил из-за пазухи бомбу и метнул ее прямо в ноги государя. И сам был разорван бомбой на куски.

Должно быть, тут в первый раз меня буквально пронзило русское прошлое, вошла в меня наша история. Вся трагедия 1 марта, знакомая мне по истории народовольчества, как героическая эпопея, здесь воочию, осязаемо явилась мне — и совсем — или почти совсем — в ином свете. Эти всенародные молитвы, море свечей у куска старой мостовой, обагренной кровью царя-освободителя...

А рядом с этой сенью распростерлась в земном поклоне какая-то полная женщина, и я невольно обратил внимание на ее совершенно стоптанные туфли с дырявыми подметками. А ведь это был разгар НЭПа — год сравнительного благополучия...

И только года через два познакомился я и крепко сдружился с Марией Вениаминовной Юдиной, тогда совсем молодой, но уже очень известной.

...А через неделю или полторы, в лютый мороз, встретился мне на Дворцовом мосту видный большевик, в прошлом, однако, юнкер 1917 года и левый эсер, — карьерист и забулдыга:

— Рыба начинает вонять с головы, — прохрипел он пропойным веселым баском: — Ну, теперь держись, братва, — начнется тако-ое...

— Что случилось, что? — встревожился я.

— Сам узнаешь, — буркнул В-в, — и зашатался дальше, то и дело приваливаясь к перилам моста.

Умер Ленин. Но ничего не *началось.* У гроба Ильича уже давал клятву идти по ленинскому пути тогда еще черноусый, мало кому известный в народе Иосиф Сталин.

Так, звено за звеном, смыкалась передо мной история, и набережные Невы, дворцы и памятники Петербурга-Ленинграда, парки и каналы час от часу сдирали с меня последние лохмотья марксизма, приобщая к подлинной жизни и истории. Работал я и в Ленснабстрое, захватившем и загадившем первый этаж величественной и строгой екатери-

ненской Академии Художеств. Служил я и в Жилстрое, на Фонтанке, захватившем небольшой дворец, вернее, особняк графини Карловой, морганатической супруги герцога Мекленбургского Георгия Георгиевича (из Дома Романовых). Высоченный каменный красный забор с бюстами черных арапов в светлых тюрбанах и сам дворец еще сохраняли что-то от его романтического прошлого. А огромная двусветная библиотека герцога, с дубовыми резными шкафами во всю высоту и на всем протяжении стен, а лестницы на обводящую верхние полки галерею — все это дышало отошедшей жизнью и культурой. Все это завалено теперь было папками с проектами и сметами, бухгалтерскими книгами, бесконечной советской отчетностью. Но как-то мой помощник, студент-второкурсник института промышленного строительства, роясь в шкафах в поисках какой-то справки, нашел в полупустом шкафу и принес мне изящную небольшую немецкую книжку в чудесном художественном переплете с герцогским гербом: это было одно из мистических творений знаменитого в начале прошлого века Эккартсхаузена. В книгу был заложен и какой-то полуистлевший голубой листок с масонской пентаграммой.

— Поглядите, Борис Андреевич, что я нашел за кипой прошлогодних смет... Что-то, видимо, религиозное, или того хуже — монархическое...

Оказалось, что сторожем-дворником Жилстроя, и проживающим-то в каморке бывшего привратника, служит дед Кости, а служит-то еще с давних времен: нанят был еще графиней Карловой. Костя свел меня со своим дедом, и старикан не раз пускался в рассказы о прошлых насельниках дворца:

— Графиня-то была простая. Хорошая была барыня. Ее, Наталью Федоровну-то, долго-долго при дворе не принимали: мол, никак не ровня она герцогу. Из каких-то его матери кумпаньенок — книжки мамаше герцога читала. Втирушей ее называли: заманила, мол, герцога, а он и слюбился с ей — и обженился. А была она хорошая, сурьезная, самостоятельная, до людей добрая. Самого-то герцога я не знал: поступил младшим дворником к евоной вдове. Но, говорили, тоже был добрым до людей — толстый такой, солидный. Но много на баловство копиталу тратил: на книжки и картинки разные, на музыке обожал сам играть, да еще четырех музыкантов за большие деньги содержал. Добро бы для себя и своей семьи. Так нет же, играли они для всякой

публики, а платил им он. Ну, да у бар копиталу хватало. Но жила графиня Наталья Федоровна тихо и хорошо — до самого семнадцатого, а там в заграницу убежала. А при ей в доме все было в аккурате: порядочек был, чистота. Никто, как сегодня, ни окурков, ни пепла на паркет не швырял, руки завсегда после уборной мыли — без того ни за стол не садились, ни книжки в руки не брали. А вы, теперешние... А уж такого, как директор наш, Жилстроев, я бы первый в подметайлы взять графине не посоветовал. Выходит намедни с уборной, а ширинку застегнуть позабыл. Это порядок?!

У новых моих друзей, Шуры Макаровой, в прошлом — архитектора, а теперь иранистки, и ее подруги Лели Сосновской постоянно бывала Мария Вениаминовна Юдина. Обе мои приятельницы и Юдина были тогда деятелями иосифлянского движения в русской православной церкви — движения клира и мирян, открыто отколовшихся от официальной церкви, возглавлявшейся митрополитом Сергием, будущим патриархом, возгласившим в обращении своем советскому правительству и богоборческой компартии: «Ваши радости — наши радости, ваши заботы — наши заботы». Юдина ухитрялась ездить в лагеря и места ссылки к опальным иосифлянским епископам, привозя от них послания и наставления верным священникам и мирянам. И Марию Вениаминовну даже смущало и мучило:

— За кого *они* меня принимают? Почти всех моих знакомых, по крайней мере, раз, но арестовывали... А скольких послали в лагеря! Вот и вас, Борис, уже несколько раз арестовывали. А я ни разу даже в ГПУ вызвана не была...

— Нашли о чем печалиться, Машенька, — смеялись мы. А моя мать, очень Юдину любившая, добавляла: — Радуйтесь — таково счастье ваше. Просто вам выпал удачный лотерейный номер...

Трудно было поверить, что в середине двадцатых и в тридцатых годах живет рядом с нами человек, полностью следующий Божьему завету: когда делаешь добро, пусть твоя левая рука не ведает, что творит правая. При выходе Юдиной из Храма на Крови (а она, как правило, не пропускала ни одной службы) ее тесно обступала толпа нищих. И она, не глядя, раздавала направо и налево все, что было в ее карманах.

Помню одного верзилу-нищего, типичного проходимца-странника стародавних времен, летом и зимой ходившего

босым в какой-то грязнейшей хламиде бурого цвета, подпоясанной потрескавшимся казачьим ремнем с металлическими бляхами. На груди — большой резной деревянный крест, в ручищах суковатый посох в человеческий рост. Всклокоченные рыжие с проседью волосища чуть ли не по пояс, огненно красная с проседью бородища и маленькие хитрющие звериные глазки под кустистыми бровями. Он не просил, а требовал:

— Подай, раба Божья Марья, страннику-паломнику на Афон и к киевским святыням, — гудел он низким тромбоном, не заботясь и о том, что Новый Афон был давно превращен в какое-то советское заведение.

И Мария Вениаминовна, не считая, отдавала ему все, что еще оставалось у нее в кошельке.

— Что-й-то мало, раба Божья, — ворчал бродяга.

Сколько ни зарабатывала в те годы Юдина, на ее жизнь и надобности оставалось у нее совсем мало. Чаще всего бывала она волчьи голодна. Придет к нам, бывало, и сразу же:

— Лидия Андреевна, — очень у вас на кухне хорошо пахнет. Это ведь на вашем примусе варится борщ?

В нашей коммунальной квартире проживало шесть семейств, и шесть примусов шипело и коптило на обширной — никогда не топящейся! — плите бывшей барской кухни. Но у Марии Вениаминовны не только ухо и глаз, но и обоняние были гениально чутки, и она безошибочно опознавала любой запах.

— Заходи, Машенька, — приглашала ее моя мать, — пообедаем вместе...

Великая пианистка, была она человеком широчайших интересов, и ее любознательность иной раз доводила ее до курьезов. Кроме музыки, литературы, философии, богословия (особенно — патристики) она была хорошо осведомлена в вопросах истории. Но когда приходил к ней в гости лингвист или даже геолог, она просила его принести ей новые книги по их специальности, особенно же, написанные ими. И не раз видел я в ее комнате на рояле рядом с «Искусством фуги» Баха, скажем, оттиск из какого-то сугубо математического журнала статьи о. Павла Флоренского «Физическое значение кривизны пространства».

— Машенька, ведь эту статью и не всякий физик и математик одолеть сможет, — зачем она вам?

— Ее оставил мне о. Павел... Почему же я не пойму ее? — обижалась Юдина.

Когда о. Павел Флоренский наезжал в Питер на какую-либо научную или научно-техническую конференцию, он почти всегда выгадывал несколько часов, чтобы зайти к Марии Вениаминовне. Помню, как играли они в четыре руки Баха и Моцарта. Любил он и послушать ее исполнение старых полифонистов.

Глубоко верующая, православная, она никак не отошла и от национальных традиций еврейства, и дремуче первобытный парторг Консерватории никак не мог сообразить: к какому именно виду опиума для народа причислить эту не то профессоршу в рясе, не то иудейку за фортепьяно:

— А, впрочем, это все одно: дурман для масс...

Шура Макарова и Юдина познакомили меня и с основательницей и председательницей Кружка камерной музыки Надеждой Ессеевной Добычиной, в свое время известной как владелица галереи и агентства по продаже произведений русских художников-«авангардистов». В кружке как раз был концерт одной из любимейших и способнейших учениц Марии Вениаминовны Аллы Маслаковец, и после концерта Добычина пригласила концертантку, ее учительницу и нескольких еще слушателей поужинать у нее. Надежда Ессеевна вообще была по-старорежимному гостеприимна, и в городе рассказывали, что милиция нередко задерживала возвращавшихся с ужина у Добычиной — главным образом, старичков из «бывших» — и старички объясняли милиционерам несколько заплетающимся языком: «Иддем из ппружка мамерной кузики...» Публика в этом кружке была совсем особая: воистину осколки разбитой вдребезги старой столичной интеллигенции. И программы были изысканными.

А мой молодой помощник привязался ко мне горячо, и я заохотил его ходить не в кино и оперетту, а в оперу и на концерты в Филармонию. Костя страстно полюбил музыку, а меня всерьез именовал своим «учителем жизни» и советовался со мною по всем возникающим у него проблемам. Очень хотелось ему, скажем, жениться. Был он чрезвычайно влюбчив, но и крайне робок и стеснителен при этом. И все добивался у меня совета: как нужно приступить к делу знакомства, ухаживания, «предложения руки, ну и сердца». И никак не мог Костя, как он выражался, «наметить себе определенно подходящий предмет обожания». Вообще, выражался Константин выспренне и даже патетически. Не скажет просто, что перечитал, скажем «Евгения Онегина», а тягучим чуть гнусавым тенорком декламирует,

что выбрал время и перечитал гениальное произведение солнца русской поэзии Александра Сергеевича Пушкина. Вот и тут также медлительно он рассказал мне, что нашлась, кажется, вполне адекватная его представлениям молодая девушка, и для начала пригласил он ее в театр, на оперу гениальнейшего Вольфганга Амедея Моцарта «Похищение из сераля». Передал девице ее билет, а сам вдруг стал сомневаться: не слишком ли он поспешил с выбором объекта предполагаемого обожания и проектируемой возможности уз Гименея: уж больно быстро согласилась девица пойти с ним в театр: может быть, она не достаточно серьезно относится к самым важным событиям в жизни?

— Вот и решил я: не пойду я на то место в театре, что с нею рядом. Пусть лучше пропадает билет. Но, Борис Андреевич, эта гениальная опера, к сожалению, идет не часто. Вот я и купил себе билет в самой верхней ложе, сел в самой ее глубине, чтобы Олимпиада меня не заметила. И, знаете? вижу, она, вся побелевшая от возмущения, что ли, в первом же антракте ушла из театра...

— Но вы же, Костя, поступили подло и смертельно обидели вашу девицу: пригласили ее, а сами сбежали. Хотя бы предупредили ее, хотя бы наврали даже, что вас, мол, срочно и неожиданно посылают в командировку. И это, конечно, гадко, но все-таки не так оскорбительно...

— Почему же, Борис Андреевич? Ведь она и одна могла бы, кажется, получить наслаждение от оперы Вольфганга Амедея Моцарта... А она ушла после первого акта. Да и первый-то акт едва ли слушала — все, как я замечал, оглядывалась по сторонам...

— До оперы ли ей было...

Костя смотрел на меня смущенно, но в глазах его не исчезало недоумение...

А Юдину из консерватории все-таки изгнали. Особенно после того, как несколько ее учеников и учениц стали из комсомолок верующими... И на очередном ее концерте в Филармонии публика засыпала ее венками и букетами цветов с надписями на лентах: «Чем ночь темней, тем ярче звезды», а какой-то, очевидно, бывший эсер, написал даже: «Вы жертвою пали в борьбе роковой»...

Как это ни странно, но через десятки лет я встретил Костю в Нью-Йорке. Ему, уже старику, удалось чудом вырваться из Советского Союза что-то в самом начале семидесятых годов. Его, Константина Елизаровича Пучкова,

уже пенсионера, выпустили по вызову из Израиля, присланному его бывшим сослуживцем и якобы братом или кузеном, помнится, Исаем Аароновичем Гиршфельдом. На одном моем литературном выступлении Пучков подошел ко мне, по-прежнему стеснительно, и начал:

— Вы, Борис Андреевич, хорошо осветили глубокие прозрения нашего величайшего душеведа и пророка русской революции Федора Михайловича Достоевского... И, хотя прошли уже долгие десятилетия, я узнал своего прежнего учителя жизни...

Пучков рассказал мне, что он все-таки женился, правда, на пятьдесят седьмом году жизни, что жена не захотела ехать с ним в земли неведомые, что в Америке жить ему неплохо — работает чертежником, или по-новомодному — дизайнером, да только вот среднерусский пейзаж ему все снится, и в опере не дают здесь ни Бородина, ни Корсакова. Жена-то не поехала с ним, но он привез с собой русского рыжего кота, красавца и великана, только очень уж привередливого: соглашается вкушать только стейки или форель, а это кусается: приходится самому пробавляться всего больше овсянкой и картошкой, через день — котлетами. А коту уже больше четырнадцати лет...

— Значит, по-котиному, в семь раз больше: девяносто восемь. Скоро ему и кончение придет...

— Нет, почему же?! — встревожился Пучков: — ведь он получше меня питается...

— Могли бы не баловать так кота...

— Раз я лишил его родины, то обязан морально его как-то компенсировать...

— А, знаете, наша Юдина умерла несколько лет тому назад. Рак. Но была все такой же. Не признавала никакого «голоса советской общественности». Преследовали Бориса Леонидовича Пастернака, — так она на концерте, когда бесконечно — как всегда — вызывали ее «на бис», вместо какой-нибудь небольшой музыкальной вещи читала опальные стихи Пастернака. А на его похоронах она и Рихтер играли много часов на рояле... Да-а, такого исполнения Баха теперь уже не доведется услышать...

— А помните моего деда, что был дворником в Жилстрое? Умер старик в лагере, на Колыме: уже на девяностом году жизни осудили его на двадцать лет «за монархическую антисоветскую агитацию»... Болтлив он стал непомерно...

«КНИЖНЫЙ УГОЛ»

«Книжный угол» — название журнала, издававшегося в Петрограде в 1919—21 гг. Статья Б. Эйхенбаума, как и следующая, В. Шкловского, взята из № 7 журнала, вышедшего в ноябре 1921 года и являющегося библиографической редкостью. Уникальна и сама статья, в которой упоминаются оба трагические события года — смерть Блока и гибель Н. Гумилева (ред.).

Б. ЭЙХЕНБАУМ

МИГ СОЗНАНИЯ

СТРАШНО, когда человек кричит в толпе, а его не слышно — толпа кричит о своем. Но еще страшнее, когда кричит человек в пустом пространстве — не слышно его просто потому, что пространство пустое, безвоздушное. Просто потому, что нет физического воздуха.

Мы не знаем никаких *причин* — о, если бы узнали хоть крохотную, одну! Весь мир бы преобразился. Но мы знаем и видим только параллели: там — это, а здесь — то. И сопоставляем. Знаем, чувствуем, что все — одно, что нет малого, случайного, отдельного, а все — большое и закономерное.

Говорил мне когда-то мой друг — человек, которого каждый нерв нашей эпохой сделан, — говорил, что мировая война наша есть порождение символизма: люди перестали *ощущать* мир, людей, вещи. Если бы *ощущали* — не могли бы воевать. И в чем-то он прав. Вероятно — более прав, чем митинговый оратор, который кричит о капитализме и не видит людей. Но все это — сопоставления.

Не дано нам видеть причин — вероятно для того, чтобы делали мы каждый свое дело, кому-то, по-видимому, нужное. Но дано видеть и узнавать следствия — ведь этим и занимается всякая историческая наука. Когда оглянемся назад — видим, что во всяком маленьком документе скрыта Истина, что в каждом маленьком существованьице — своя была правда и что не само по себе оно было, а в закономерном целом. Тогда кажется нам, что мы все поняли, что нашли причину. И говорим — «недаром»... Но стоит взяться за свою жизнь, за сегодняшний день — и рушится наше знание,

потому что не Истину нашли мы, а только следы ее страшной поступи на засохшей земле. Историк становится самым наивным обывателем — «Ну вот вы — историк, скажите нам...» А историк пожимает плечами и сконфуженно молчит.

Каждому поколению отведен свой участок времени. Играет оно, потом учится, держит экзамены, проводит ночи в спорах или в беспечном веселье, потом влюбляется, женится, трудится, творит... И вот на пути этом вдруг (и всегда с жуткой внезапностью) наступает момент, когда видит оно, что и экзамены держало, и влюблялось, и творило — «недаром»... Что за все оно ответственно, что все было закономерно. Это — точка зрелости и ужаса. Оно видит, что никуда не уйти уж ему, не спрятаться от невидимых и неведомых причин, некого упрекать и ничего не поправить. Что оно уже стало следствием. Что оно уже в цепях Истории, с которой так дерзко и беспечно заигрывало... *Миг сознания и возмездия.* Тихая минута ужаса — то страшное затишье в жизни, о котором писал Гоголь в «Старосветских помещиках». Ведь и Афанасий Иванович Товстогуб пережил этот миг сознания, хотя весь мир его замыкался пределами частокола. В эти тихие минуты ужаса и сознания люди ломают свою жизнь, сходят с ума, стреляются или просто — умирают...

К такому мигу сознания подошло сейчас поколение людей, которым 35—40 лет. Уже ходят по улицам новые юноши, которые держат экзамены, влюбляются и беспечно смотрят в лицо Истории. А те, которые были юношами около 1905 года, слышат этот «таинственный зов» — слышат его в страшной тишине безвоздушного пространства, где глас их — глас вопиющего в пустыне: «Я обыкновенно тогда бежал с величайшим страхом и занимавшимся дыханием из сада, и тогда только успокаивался, когда попадался мне навстречу *какой-нибудь человек,* вид которого изгонял эту *страшную сердечную пустыню*».

Начинаются потрясения и ужасы. Начинаются муки сознания и жуткие вопросы. «Нужен ли я кому-нибудь?» В эти моменты писатели пишут свои «авторские исповеди», где и каются, и надрывно кричат, и гневно требуют. Хорошо, если попадется им навстречу *какой-нибудь человек,* если откликнется на исповедь чья-нибудь душа. А если промолчат? Если прочитают — и пойдут обедать?

Блок умер, потому что наступил этот миг сознания. Его авторская исповедь — речь «О назначении поэта», сказанная в феврале этого года. Там сказано с ясностью, теперь ужасающей (потому что ведь слышали мы это из *собственных, из живых* уст его — и ничем не откликнулись!): «Пушкина тоже убила вовсе не пуля Дантеса. *Его убило отсутствие воздуха... Покой и воля.* Но покой и волю тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий. Не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю — тайную свободу. И поэт умирает потому, что дышать ему уже нечем; жизнь потеряла смысл». Блок говорил о себе, а мы думали, что о Пушкине. Наступил страшный миг сознания и возмездия — и Блок умер... Это — один исход: страшный тем, что предсказанный, объявленный.

Но может быть это — случайность?.. Погибает другой поэт... Совсем другой — спокойный, веселый, уверенный... И погибает совсем иначе... Жестокая случайность? «Они»? — Но ведь все закономерно!!! Ведь Смерть, в каком бы облачении ни являлась она, приходит туда, куда посылает ее История. А История — это мы, *мы все,* мы сами. Поэт не писал авторской исповеди:

Крикну я, — но разве кто поможет,
Чтоб душа моя не умерла?

Но просто сказал на прощанье своим читателям:

А когда придет их последний час,
Ровный, красный туман застелит взоры,
Я научу их сразу припомнить
Всю жестокую, милую жизнь,
Всю родную, странную землю
И, представ пред ликом Бога
С простыми и мудрыми словами,
Ждать спокойно Его суда.

1921 год будет отмечен в истории нашего поколения, как миг сознания. Летом этого года вышла книга «Записки мечтателей», № 2—3. Еще раньше, в 1919 г., вышла книга в такой же обложке: «Записки мечтателей» № 1. Там, на первых же страницах, взволнованно, с напряжением

всех мускулов, говорит Андрей Белый о необходимости сохранить «тайную свободу» индивидуальности: «надо нам, одиноким «мечтателям», осознать, что коммуна «мечтателей» создаваема при условии отделенности личностей, выветляющих индивидуально растущую крону и посылающих друг ко другу в свободе полета своих птиц и пчел». Глухим, но возбужденным голосом повторяет он, что «индивидуальность» выше «личности», что она — «крона, шумящая над стволом нашей личности», что если обрубить эти кроны, то лес станет забором, что «коммуна, построенная лишь на равенстве голых стволов, убивает свободу напева» и т. д.

Переверните одну страницу — и вы услышите уже не глухой, а раздраженный голос, обращенный прямо к русским читателям: «Автор, стесненный в объеме, стесненный во всех возможностях отдаться своей единственной теме, будет бороться с условиями существования писателя для того, чтобы все-таки пробовать работать. Но он не обещает читателю победить препятствий, стоящих на его пути; обстоятельства жизни рвут его на части; автор подчас падает под бременем работы, ему чуждой; он месяцами не имеет возможности сосредоточиться и окончить хотя бы недописанную фразу; его «Эпопея» требует *уединения, покоя и сосредоточенной жизни,* а этого покоя и сосредоточенности у него нет; у него нет счастья проработать свою тему».

«Покой и воля» Пушкина, «тайная свобода» Блока, «покой и сосредоточенность» Белого. Все — об одном. Блок говорит: чернь требует, чтобы поэт «сметал сор с улиц», «просвещал сердца собратьев» и проч. Белый заявляет: «автор согласится скорее чистить улицы, чем подменять основную миссию своей жизни суррогатами миссии: «животрепещущей» культурной работою, лекциями, статейками... Автор не станет заниматься этими второстепенными для него делами и — предпочтет чистить улицы». И наконец: «Часто за это время перед автором вставал вопрос, нужен ли он кому-нибудь, т. е. нужен ли «Петербург», «Серебряный голубь» и др. произведения автора. Может быть, автор нужен предпринимателям литературных кафе, или нужен как учитель «стиховедения». Если бы это было так, автор немедленно положил бы перо и старался бы найти себе место среди чистильщиков улиц, чтобы не изнасиловать свою душу суррогатами литературной деятельности».

Очерк Блока «Призрак Рима и Monte Luca» кончается

неожиданными размышлениями о себе: «Я человек несвободный, и хотя я состою на государственной службе, это состояние незаконное, потому что я не свободен; я служу искусству, тому третьему, которое от всякого рода фактов из мира жизни приводит меня к ряду фактов из другого, из своего мира, из мира искусства». Белый кричит: «Мне негде печататься! Помню, когда-то давно миллионеры, с любезностью расточая свои комплименты писателю Белому, когда он приступал к «Петербургу», спокойно смотрели, как я голодал, а «Издательства» прижимали меня; все же порою «Издательства» мне кидали гроши, чтоб не умер я с голоду; в социалистическом же государстве я, пролетарий, пока обречен на голодную смерть, если я захочу жить действительно делом своим, а не кидаться в «комиссии», где я все только путаю. Перед нами встают роковые вопросы, не разрешимые приглашением нас читать лекции, заседать, председательствовать и т. д. *Было бы безумием Льва Толстого заставить служить, и безумием было бы Ибсена затащить в режиссеры*».

Господин русский читатель! Слышите ли вы все это — ведь это *последние* слова говорятся. Слова, которых никогда, вероятно, не набирали наборщики. Слышите ли вы этот страшный, самый тихий вопрос, — вопрос, который и на ухо другому не всегда задашь: *«нужен ли я кому-нибудь?»* Но об этом Белый спрашивал еще в 1919 г. — и никто ему ничего не ответил. Русский читатель прочитал и запомнил: «Белый тоже жалуется. Что ж, пусть чистит улицы — будем вместе чистить». И пошел с облегченным сердцем носить воду, рубить дрова и — чистить улицу по приказанию Домкомбеда.

Прошло два года. И опять кричит Белый — кричит на всю Россию, надрывно, гневно, до исступления. Вы — «помогающие голодающему Поволжью»! Если вы не слышите этого голоса, потому что Белый кричит в безвоздушном пространстве, то посмотрите на это выражение ужаса, на страшно раскрывающийся рот: «Болен я! Никуда не гожусь! Пусть меня призывают туда и сюда читать лекции, открывать «академии», организовывать «университеты» и участвовать «оригинальною» темой статьи в любом сборнике, — я на все те призывы отвечу: Я — болен... Не зовите больного меня: дайте мне доболеть в моей самости; дайте бренной страдающей личности «Белого» опочить вечным сном; и —

пред смертью своей написать завещание... зуд альтруизма, «общественность» есть чудовищное проявление эгоистической самости; уподобляетесь вы тифозным, уже потерявшим сознание и бредящим схемами невоплотимейших «университетов», *в то время, как я, после бреда очнувшись (как знать, может быть лишь на миг)* — ясно вижу: больничную койку, постель, ощущаю себя в ней лежащим в смертельной болезни и перебарывающим в себе ваши приступы бредов (я полон до сих пор грандиозными начинаниями, курсами лекций, статьями и прочим); я знаю, что может быть через минуту умру я; а может быть, как и вы, вновь забудусь, до агонии сливаясь всем бредом своим с вашим бредом... Говорить о себе, своем личном, быть может, сейчас для нас, пишущих, — есть единственное социальное дело... дайте мне пять-шесть лет только минимум условий работы, — вы будете мне благодарны впоследствии... о, дайте возможность мне бросить вас года на два... позвольте уйти от всех вас года на три-четыре в пустыню, чтоб к вам же вернуться... Отпустите меня на свободу, и я — я вплотную придвинусь к вам темой моей... я нуждаюсь в гарантии, что за этою нужной работою не умру я от голода, если народу я нужен, как стойкий работник на ниве культуры, то сам я сумею найти себе место... Вы оставьте меня умирать как писателя... буду охотно я чистить проспекты, наймусь-ка я в дворники; знаю: физический труд не разлагает душевную песню; насильственный умственный труд — только гибель души... Погодите меня хоронить: я в себе ощущаю огромную силу... Мне не хочется умереть, не сказав основного... Я не могу предавать своей *самости,* не могу убивать за младенцем младенца в себе».

И не слыша ниоткуда ответа, Белый, заглушая все роковые вопросы, сам кричит себе: «Так стою пред судьбой своей и с горькой радостью; и сознавая в себе силу, через голову всех *обращаюсь к России с уверенным словом: «Я — нужен тебе!» — И я знаю, чем именно нужен!»*

«Мечтательство» кончено. Минута ужаса наступила. Поколение слышит шаги Командора:

Настежь дверь. Из непомерной стужи,
Словно хриплый бой ночных часов —
Бой часов: Ты звал меня на ужин.
Я пришел. А ты готов?

Что же взывать к читателям, которых нет? Мы все нужны только Истории, а она беспощадна. Вот — ходят по улицам новые юноши. Держат экзамены и влюбляются. Им Белый сейчас не нужен. Их черед играть с Историей.

А мы все призваны на суд. И каждый поступает по-своему. А пишу я все это не для читателей и не для «голодающего Поволжья», а для того «мига сознания», который придет и к этим юношам. А еще потому, что надо же, чтобы хоть *«какой-нибудь человек»* попался навстречу страдающему Андрею Белому.

О Г Л А В Л Е Н И Е:

Стр.



Photo Marianna Volkov.

Андрей Седых в редакции Нового Русского Слова.

ВЕХИ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА:

1902: родился в г. Феодосии. 1911—1920: гимназические годы (Феодосия, Джанкой). 1920: эмиграция (Константинополь — Париж). 1920: первые газетные и журнальные публикации. 1925: университетский диплом. 1926: первая книга очерков «Старый Париж». Книги двадцатых годов: «Монмартр», «Париж ночью». 1932: женитьба на Е. И. Липовской (Женни Грэй), артистке 2-й студии МХАТ. 1933: работа секретарем Бунина, лауреата Нобелевской премии. Книги 30-х годов: «Там, где жили короли», «Там, где была Россия», «Люди за бортом». 1942: переезд в Нью-Йорк. Начало работы в Новом Русском Слове. Книги сороковых годов: «Дорога через океан», «Звездочеты с Босфора». Книги пятидесятых годов: «Сумасшедший шарманщик», «Только о людях». Годы шестидесятые: «Далекие, близкие», «Занесло тебя снегом, Россия», «Земля Обетованная», ''This Land of Israel'', «Иерусалим, имя радостное». С 1965 — редактор-администратор; с 1973 — главный редактор Нового Русского Слова. 1977: «Крымские рассказы». 1980: «Пути, дороги».